

СП 8
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



И $\frac{210}{213}$ ШВЕЦИЯ 7

ЛЮДВИГ НОРДСТРЕМ

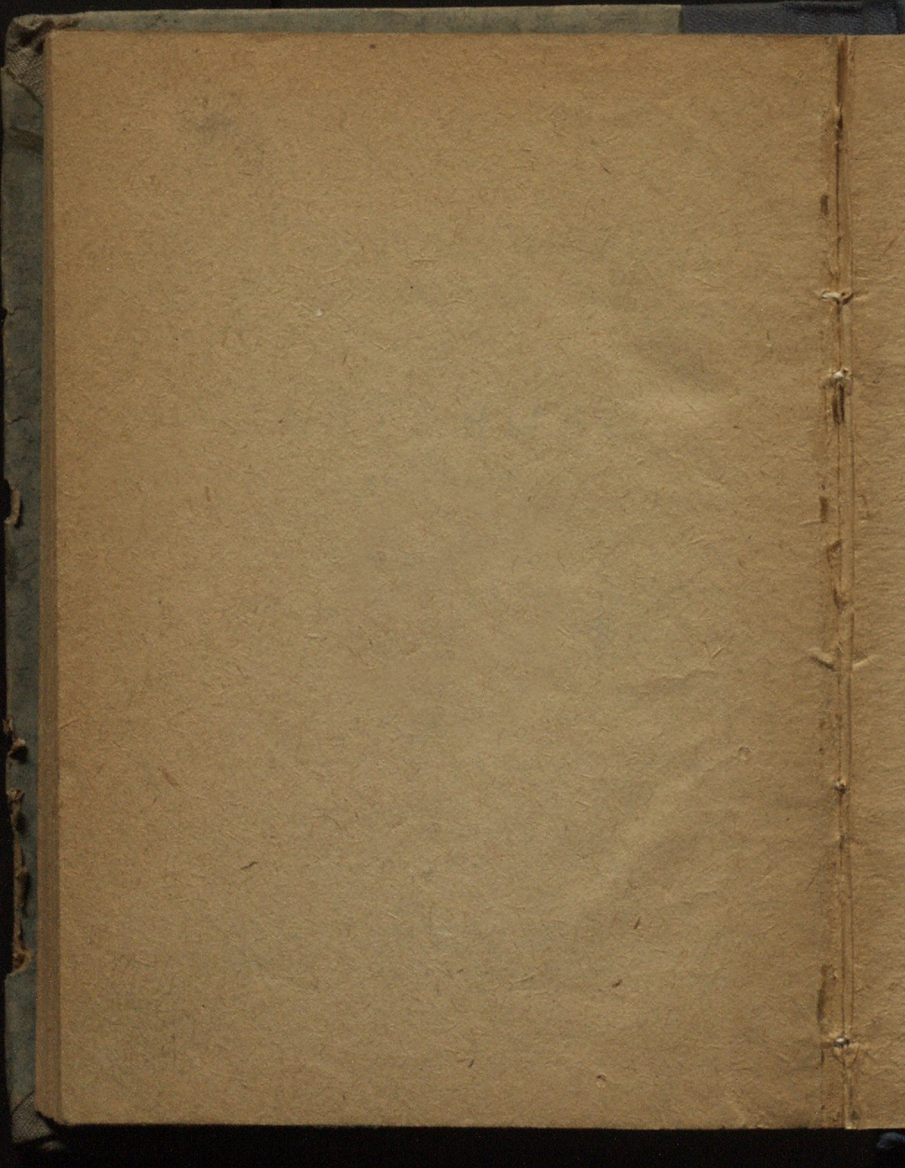
ОБЫВАТЕЛИ
РАССКАЗЫ

ВЫПУСК
№ 31



ПЕТЕРБУРГ
МСМХІХ





Вып. № 31.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

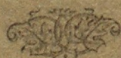
ЛЮДВИГ НОРДСТРЕМ

LUDVIG NORDSTRÖM

И $\frac{210}{219}$ ОБЫВАТЕЛИ

РАССКАЗЫ

Що 47
ПЕРЕВОД И
ПРЕДИСЛОВИЕ
А. ГАНЗЕН



П Е Т Е Р Б У Р Г

== 1 9 1 9 ==

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Людвиг Нордстрем талантливый представитель новейшей шведской литературы. Предлагаемые русским читателям в переводе рассказы выбраны из двух книг Нордстрема: „Обыватели“ (или „Бюргеры“ 1909 г.) и „Господа“ (1910 г.), которые создали автору имя. Особенно крупный успех имела первая книга, выдержавшая несколько, быстро следовавших одно за другим, изданий. И литературная критика и читающая публика оценили по достоинству новое, свежее, оригинальное дарование автора, творческая личность которого представляет незаурядное сочетание богатого юмором, трезвого, беспристрастного бытописателя-реалиста и чутко-вдумчивого психолога идеалистического направления.

Тонко подмечая и мастерски рисуя реальные мелочи быта, Нордстрем стремится установить между ними духовную связь, объединить их внутренней идеей, часто весьма глубокой и высокой. Вкладывает, так сказать, душу в факты.

Родился и вырос Нордстрем в глухом провинциальном уголке на севере Швеции. Родной его городок (быт и типы которого так

живо изображены во многих произведениях Нордстрема, носящих отчасти автобиографический характер)—представлял в первую половину минувшего столетия „смесь города, рыбацкого поселка, торговой гавани и доков“. Весь же округ, центром которого являлся городок, был медвежьим углом, заросшим вековыми лесами и отгороженным от внешнего мира горами. Соединяла этот глухой край с остальным миром лишь река, бравшая начало в горах и впадавшая во фьорд, на берегу которого расположился городок.

Во вторую половину века в мирной патриархальной жизни глухого угла совершился перелом: владевшее огромными лесными богатствами, но занимавшееся только хлебопашеством, коренное крестьянское население стало понемногу промыслять лесом, т. е. на первых порах попросту рубить и сплавлять лес. Затем на горной реке завелись одна-две лесопилни, а на фьорде верфь. Сношения с внешним миром оживились, и в глухой уголок стали прибывать „чужие“,—сначала, впрочем, из своих же, из шведов, но за ними уже хлынули иностранцы с капиталами для пересоздания „мужицкого“ края в фабрично-промышленный.

В связи с переменами хозяйственной жизни менялись и формы быта, рушились старые устои, создавались новые. Кое-кто из „обывателей“ становился „предпринимателем“, одни

богатели, другие разорялись, как „хозяин Лакк“ („Неисправимый“). Из „мужиков“ выходили „господа“ края, как Олаф Ломарк, „основатель династии“ („Первый“), расцветали пышным цветом, пересоздавали весь уклад жизни, считая себя орудиями Высшей и Благой Воли, а в следующих поколениях—вырождались в оторванных от родного корня хищников-эксплуататоров, как старший внук старика Олафа, Филипп Ломарк, или в настоящий пустоцвет, в людей без внутреннего содержания, без всякой цели к жизни и даже без сколько-нибудь прочной внешней связи с окружающим миром, как младший внук Торстен и его временная возлюбленная Матья Клауссен („Человек без души“).

История и подробности этого превращения, как внешнего, так и внутреннего, составляют основную тему двух упомянутых книг Нордстрема, талантливо и оригинально им разработанных. Это не связанное, последовательное повествование, а ряд небольших, жанровых картинок, галерея людских портретов, от которых веет то заразительным юмором, (строитель Унзус и его жена; глухонемой Изркер, хозяин Лакк), то больно щемит сердце (Филипп и Торстен Ломарки, Матья Клауссен, Франц Геттинг).

Как можно судить по носящим автобиографический характер „Картинкам из детства

Томаса Лакка", — настоящим жемчужинкам в своем роде, — автор с детства отличался живым, пытливым умом, впечатлительностью и наблюдательностью, которые развивались в даровитом ребенке и подростке с тем большей силой, что самая обстановка весьма способствовала внутренней сосредоточенности его духовных сил, устремлению пытливого взгляда в самого себя и внутрь того тесного, замкнутого мирка, в котором он рос, отгороженный от рассеивающих, разнообразных, сменяющихся впечатлений извне, из широкого, большого, чужого мира. Благодаря этому у Нордстрема оказался в свое время богатый запас наблюдений, бытовых и психологических, давший пищу его творческому дарованию.

Одна из особенностей творчества Нордстрема именно чуткое внимание писателя к мелочам повседневной жизни. Он умеет тонко чувствовать духовную и телесную зависимость человека от этих мелочей, умеет собирать их и группировать все эти блески и темные пятнышки действительности, а затем освещать их внутренним светом идеи так, что получаются цельные, яркие картины и образы, живо говорящие уму и сердцу читателей.

Немногословные, простые, но всегда продуманные и прочувствованные, а подчас и глубоко остроумные реплики автора по поводу изображенной картины обыкновенно еще усиливают

впечатление, подчеркивая внутренний, серьезный смысл данного, хотя бы с виду и неважного события или типа, его значение в единичном человеческом существовании или в общечеловеческой жизни.

Не меньше чуткости обнаруживает Нордстрем к влияниям на дух и тело человека явлений природы. Почти все наиболее выдающиеся фигуры и сцены изображаемой им жизни удачно оттенены у него картинами природы, составляющими их неотъемлемый фон, до известной степени объясняющий или даже обуславливающий самый характер данных фигур или возникновение и ход событий.

Как на характерные примеры в этом смысле, можно указать на рассказ „Гроза показала хозяина“ (являющийся, кстати сказать, маленьким жанровым шедевром), на кошмарную сцену зверской расправы со штрейкбрехерами в рассказе „Вожак“ и на развязку этой „дикой драмы“ в суде.

Самой природе, как и вообще окружающей обстановке, Нордстрем придает своеобразную одушевленность. Солнце и месяц, земля и вода, облака и ветры, ночь и день, деревья и дома становятся под его пером как бы живыми существами, участвующими в текущей жизни людей. И сколько своеобразного юмора, удачных сравнений и неожиданных оригинальных уподоблений в таких описаниях!..

Ночь у него, „словно большая черная кошка, прикрывает весь мир, все существа на земле, как котят, и незаметно для них начисто выливает их, пока они спят под ее мурлыканье, которое кажется им во сне отголосками повседневной жизни“.—Деревенские дома „похожи на наседок, растопыривших крылья, чтобы выпустить своих цыплят“.—„Фьорд сияет блестящими, словно раскрытый сундук, в котором спрятаны до зимы все звезды“.—Ветры—то ватага молодцов, задавшихся целью потягаться со „старым красным мастодонтом—солнцем“, то „бешеные собаки“, набрасывающиеся на „фыркающих, сыплющих искры кошек—грозовые тучи“.—Мелкие перистые облачка—„пух исполняющей птицы, которая сидит в гнезде, где-то в поднебесьи, и линяет“. Вообще, облака, изменчивые, непостоянные, как сама жизнь человеческая, особенно часто фигурируют в описаниях Нордстрема, создавая или усиливая нужное впечатление.

Как уже упомянуто, кроме юмора, сильно звучат в творчестве Нордстрема и ноты задушевного лиризма, о чем могут дать понятие, например, поэтические строки, посвященные в юмористическом рассказе „С крыши свалился и—женился“ пению лесного дрозда „излюбленного певца“ родины Нордстрема, „одинокого голоса в лесу“.

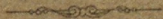
В том же рассказе найдем пример особого

умения писателя двумя-тремя, как бы случайными, штрихами дать представление о целой драме человеческого существования. Так, перечисляя гостей на свадьбе глухонемого героя, автор упоминает о женах батраков и роняет фразу: „грудь и спина у них словно поменялись местами“. Этими немногими словами охарактеризована вся жизнь этих существ, „похожих на людей только потому, что на них надето платье, жизнь, состоящая сплошь из труда тяжелого, изнурительного, уродующего тело и душу“.

Вообще, Нордстрем немногословен; слог у него сжатый, отточенный: язык простой, свободный, живой и ядреный.

Вслед за „Обывателями“ и „Господами“ вышло в свет еще несколько книг Нордстрема, одна из которых—„Идилии Королевства Эбакк“ (1916 г.)—служит как бы продолжением первых двух и, по отзывам критики, стоит на ряду с ними. И остальные, позднейшие произведения Нордстрема свидетельствуют о том, что талант его все крепнет и развивается.

А. Ганзен.



ГРОЗА ПОКАЗАЛА ХОЗЯИНА.

Стоял удивительный летний день, какие выпадают не часто и годами остаются в памяти. Небо горело и сверкало; с вершин гор медленно сползали огромные облака; земля дышала зноем, и фьорд сверкал блестками, словно раскрытый сундук, в который спрятали до зимы все звезды.

Но главная роль в этом рассказе принадлежит облакам,—мы ими и займемся прежде всего.

Еще ранним утром, когда по улицам громыхали тележки молочниц, облака скучились на вершинах гор на западе и словно выжидали чего-то.

С другой стороны неба поднялось красное солнце, разливая палящий жар, словно раскрытая пасть раскаленной печи. Жар и пар стояли в воздухе неподвижно, пока на них не набегал впопыхах ветер, рассчитывая быстро проскользнуть мимо; не тут-то было; из печи словно выкидывало столб дыма от разом вспыхнувшей охапки солом, и он вместе с ветром взвивался кверху и пропадал в вышине.

Накануне вечером ветры, по обыкновению, унеслись в открытое море, улеглись там и пре-

спокойно проспали всю ночь. Еще бы! Они весь день таскали облака на горы, работа не из легких. Тем более, что солнце нажаривало во всю. А когда оно, наконец, утомилось, то и работа была уже доведена до конца. Покончив с нею, ветры и пустились в припрыжку по фьорду, вспенивая и расплескивая воду, к несказанной радости жителей городка. Понятно! Пока ветры добирались до открытого моря, люди на берегу фьорда и на набережной стояли со шляпами в руках и прохлаждались.

Сегодня ветрам, следовательно, предстоял обратный путь, но они проспали, умаявшись накануне, и солнце успело встать раньше их. Вот тебе и на!

Положение было таково: на западе, на вершинах гор, сгущились облака; на востоке, в море, покоились ветры, а посередине зияла раскаленная солнечная печь и обладала ветры своим горячим дыханием. Им скоро и стало немоготу,—пришлось нырять в воду, чтобы не задохнуться.

Но как же добраться до тех высоких гор с белыми, неподвижными облаками вдаль?

Ветры выслали на разведки парочку молодых, сильных, закаленных молодцов. Но, к общему ужасу остальных, разведчики, попав в полосу знойного дыхания солнца, заметались, вспыхнули и исчезли. Над морем словно пронесся протяжный вздох...

Однако, ветрам во что бы то ни стало нужно было добраться до облаков, хотя бы обходом, через неизмеримые пустыни.

Сам король ветров повел свое войско—сначала к югу. На море стояла масса судов, и ветры делали маленький привал за каждым из них, чтобы передохнуть от ужасной жары. Но после каждого привала они забирали уже западнее.

Солнце все время гналось за ними по пятам, но ветры были легче на ходу, чем этот старый красный мастодонт! *)

Наконец, они добрались до берега; отсюда было уже не так далеко до цели. Под прикрытием прибрежных холмов и лесов поползли они к северу. И когда солнце увидало их в ущельях, долинах и над болотами, то начало бледнеть, потеряв надежду догнать их.

Тогда только ветры могли двинуться вперед быстрым маршем...

А в городке никто целый день не знал, куда запропастились ветры, и все спрашивали друг друга:

— Ты не замечал сегодня ветра?

— Нет,—отвечал спрошенный:—не знаю, куда он девался. Судя по всему, сегодня совсем не будет ветра; разве к вечеру поднимется.

*) Мастодонт—вымершее животное из породы слонов.

Но больше всех беспокоился строитель Унэус. Когда он утром поднял шторы и увидел ослепительно-яркое небо и все горы в низко-надвинутых облачных шапках, у него душа ушла в пятки.

Жена его, в пестром пеньюаре, ходила по огороду и возилась с парниками.

— Софи! — окликнул ее Унэус из окна. — Сегодня нет ветра?

— Нет, хвала небу,—ответила она.

— Гм!—сказал строитель.—Не знаю, нужно ли хвалить его за все и про все. В такую жару небо могло бы послать нам хоть легкий ветерок в награду за все те хвалы, которыми его осыпают.

— Убери из окна свою образину,—ответила фру Унэус.—Оденься и пригладь вихры, а то на тебя глядеть тошно.

— Заметно, что наш медовый месяц кончился,—сказал на это строитель.

— Ха-ха-ха!—рассмеялась фру Унэус.—Медовый месяц не для таких двух старых горилл, как мы с тобой. Уж и за то спасибо, что судьба свела нас, а то бы ни ты ни я вовек не нашли себе пары.

— Гм!—хмыкнул строитель, натягивая брюки.—Оно, конечно, похвально, что ты сама признаешь свое сходство с гориллой... Но если бы ты виде-

ла сейчас себя самоё, ты бы подивилась—что это за пугало караулит парники.

— Экий ты у меня душка, старикашка!—рас-смеялась фру Унэус и послала ему воздушный поцелуй.

— Давай-ка сюда свои губы, я их оботру,—сказал строитель, надевая жилет.

— Ты не шутишь?—спросила фру Унэус, нежно склонив голову на бок.

— Я никогда не шучу,—ответил муж.

Фру Унэус подошла к окну, а строитель пере-гнулся через подоконник и поцеловал ее в губы,

— Спасибо, Софи,—сказал он.—Однако, и фи-зия у тебя!

— Спасибо!—ответила она и прибавила, поло-жив руку на живот:—если ребенок будет в нас обоих, я ему не позавидую.

— Ничего не поделаешь,—ответил строитель, улыбаясь. — Впрочем, наверно родится двойня, мальчик и девочка, так что мы разделим стыд пополам. Но мне что-то не нравятся эти облака. Как бы не собралась гроза.

Фру Унэус оглядела небо.

— Весьма возможно,—сказала она и вернулась к парникам.

— Бог знает, что принесут с собой эти обла-ка,—продолжал бормотать Унэус:—пожалуй, и гром и град, и всего понемножку.

По дороге в контору он не сводил глаз с облаков, со страхом примечая, какие они огромные, грозные и неподвижные,—того гляди, обрушатся и раздавят весь город... засверкают молнии, земля с грохотом заколеблется под ногами... И тогда...

Ни ветерка! Куда же запропастились все ветры? Неужто во всем городе не найдется хоть плохонького, захудалого ветришки? Раньше в них не замечалось недостатка.

— Это не к добру,—твердил себе строитель.— Что-то готовится!

И все другие обыватели говорили то же.

Общее настроение было такое, как в осажденном городе, когда все тщетно ожидают приближения подмоги.

Ничто, таким образом, не мешало солнцу хозяйничать, и можно себе представить, что оно сделало с облаками. Они стали набухать и растекаться, как тесто, то и дело меняя цвет, форму и положение. Солнце жадно тянуло их к себе, и они медленно поползли с гор. А где-то далеко, в самых недрах гор, слышалось какое-то урчанье и погромохивание, словно там кто-то наводил порядок.

Фру Унэус отправилась в город; день был базарный, и улицы кишмя кишели рыбаками и пригородными крестьянами.

— Должно быть, не на шутку разразится,—говорили все, задирая головы к небу.

— Да, все ветры не просто забрались за горы, нагонят оттуда еще побольше облаков,—сказал старик из толпы.—Право, как будто все до единого стянулись туда помогать друг другу. Отсюда их словно сдуло всех. Гляньте-ка! Залив, как зеркало, и даже пар от него валит.

Фру Унэус порадовалась за свои огурцы и поспешила домой, чтобы успеть прикрыть грядки на случай града.

Солище заволокло тучами, и небо стало похоже на обрюзгшее лицо старого пьяницы с сизыми щеками и лиловым носом; это лицо венчало собою тело, которое попеременно кидало то в жар, то в холод.

Все притихло. Птицы исчезли, кошки сидели у дверей и шурились.

Вдруг в воздухе тарахнуло, и сразу стемнело, как в бочке. Тучи зафыркали и начали сыпать искрами, словно все кошки в городе собрались в кучу, передрались и сверкали глазами впотьмах.

Потом поднялся такой грохот, как будто тучи и облака были каменные и дробились на кусочки. Земля тряслась, окна дребезжали, а собаки, поджав хвосты, стрелой мчались по улицам или утакали под ворота, не издавая ни звука, хотя только что надрывались от лая.

Вот когда и подоспели ветры. Одним прыжком взлетели они на горы и узрели оттуда ужасную картину. Все пространство было охвачено пламенем; молнии, как раскаленные стрелы, вонзались в воду, и вода вскипала и брызгала кверху струями словно из ноздрей китов, а белевшие во мраке городские дома напоминали людей, сбежавшихся на пожар в одних ночных рубахах.

«Пожар!—подумали ветры.—Воды!»

И они распахнули настежь ворота огромного водоема-тучи. Дождь хлынул на город, а ветры, как бешеные собаки, набросились на фыркающих и сыплющих искры кошек... Поднялась баталия, описать которую не под силу перу человеческому.

Фру Унэус, полуголая и промокшая, стояла возле своего драгоценного парника. Она хорошо укрыла его, а сама вместе с деревьями и травами наслаждалась теплым дождем и прохладным ветром и радовалась жизни, кипевшей в облаках.

Все вокруг словно вымерло, на улице не было ни души.

Вдруг она увидела бегущую фигуру. Боже, что за жалкое зрелище! Бежал мужчина, закрыв лицо руками.

— Вот бедняга! Кто бы это?—сказала себе фру Унэус и вдруг узнала своего мужа

Он промчался мимо нее прямо в дом; она только и успела уставиться ему вслед, да так и застыла, освещаемая непрерывными молниями, не-

подвижная, промокшая, с растрепанными волосами, похожая на ведьму.

Очнувшись, она пошлепала по намокшим дорожкам к дому.

— Что с ним такое стряслось?—говорила она себе.—Ума не приложу.

Она прошла прямо в спальню и там увидела супруга, бледного до синевы, сдравившего с себя мокрое платье.

— Что с тобой?—спросила фру Унэус. Но муж не отвечал.—Я спрашиваю, что с тобой?—повторила она и опять не дождалась ответа.—Что за странный человек!—уже крикнула она.—Почему ты не отвечаешь?.. Оглух, онемел или спятил?

Но строитель юркнул в постель и, так как в ту же минуту над домом рассыпались молнии и ударил гром,—нырнул с головой под одеяло и больше не показывался.

— Прощай, наш герой!—сказала фру Унэус и, подойдя к окну, стала смотреть на небо. «Так вот оно что,—думала она:—вот он каков молодец! И я вышла замуж за такого господина! Хорош гусь, нечего сказать!»

Она долго простояла у окна, будучи не в силах двинуться с места, затем отправилась к своим огурцам.

В голове ее проносились самые противоречивые мысли. Внезапно она встала с гряды и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Вот так история! Хорошо еще, что я не разучилась чертыхаться. Вот проклятый трусишка! Боится грозы, как ребенок! Ребенок! А ему предстоит стать отцом!—Тут она приложила ко лбу палец и сказала:—Софи! Подумай хорошенько! Что тебе остается делать? Развестись ты не можешь, да и глупо было бы. Благодарю Бога, что тебе удалось обзавестись мужем, и держись за него руками и зубами. Ты, ведь, красотой не блещешь, а мало ли на что может пригодиться в доме мужчина? Только как же теперь быть?.. Да вот, поглядим, что он предпримет, когда гроза пройдет. Это самое главное. Тогда и решим, как быть.

Фру Унэус дождалась, когда гроза миновала и снова выглянуло солнце, и тогда отправилась в спальню.

Унэус сидел на постели. Увидав жену, он сказал:

— Какова гроза-то была, Софи?

— Да, действительно,—ответила она.

— Послал Господь погоду,—продолжал он, поглаживая усы.

— Ты всегда так ведешь себя во время грозы?—спросила фру Унэус.

— Да,—ответил он.—Это ко мне перешло от отца. Больше-то я собственно ничего и не унаследовал от него.

— Неважное наследство!—сказала фру Унэус.

— Могло быть и хуже!—ответил муж.

— Едва ли,—усомнилась жена.—Ведь ты настоящий трусишка!

— Да, в некотором роде,—согласился строитель.—Отпираться нечего, раз ты уж видела все доказательства. Но в этом, ведь, нет ничего дурного.

— Положим,—сказала фру Унэус:—но я не вижу и ничего хорошего.

— Во всяком случае, ты видишь, что я это не нарочно.

— «Видишь, видишь!».. Когда ты лезешь под одеяло, что же мне остается видеть, кроме того, что ты—трус? Диво еще, что ты не забрался под кровать.

— Я прежде так и делал,—сознался строитель.—но теперь брюхо мешает.

— Скажите! Как расхрабрился задним числом! Даже шуточки отпускает теперь.

— И прежде отпускал.

— Нет, как же мне после этого уважать тебя?—спросила фру Унэус.

— А, пожалуй, и не уважай, коли не хочешь. С меня довольно, что ты моя жена,—ответил муж.

— Вставай!—сказала фру Унэус.—Нечего рассиживаться да крутить усы.

— Я думаю думаю,—ответил он, сбрасывая одеяло.

— И я думаю... что я куда больше мужчина, чем ты!—воскликнула фру Унэус.

— Отчасти, да,—согласился Унэус.—Слава Богу, только отчасти. Об этом-то я и думал сейчас. Об этом-то я как раз и думал сейчас, дорогая Софи. Да, признаться, и давно уже думал. Пожалуй, потому собственно и женился на тебе. Мне думалось, что надо же хоть кому-нибудь быть похрабрее в доме, вот я и женился на тебе, Софи. А уж отнюдь не из-за красоты твоей.

— Вставай!—сказала фру Унэус.—Довольно вздор молоть.

— Какой же вздор, милая?—ответил супруг и начал одеваться.—Я еще вот что думал: в случае войны с русскими, Софи может поступить в полк маркитанткой *), а я, таким образом, увилю от солдатчины.

— Сказать тебе кое-что?—спросила фру Унэус.

— Ты знаешь, я всегда с удовольствием слушаю тебя.

— Все это ты городишь только для того, чтобы замазать свой стыд!

— И в голову не приходило; но, пожалуй, ты права,—сказал строитель.

— И вот что я еще скажу тебе,—продолжала фру Унэус:—с этих пор я хозяйка в доме!

*) Маркитантка—женщина, доставляющая солдатам провизию.

— Но, дорогая моя!—воскликнул стоявший в одних кальсонах супруг, простирая к ней руки.— Для чего же иначе ты и вошла в дом? Я полагаю, именно для этого.

— Полагаешь?

— Да, а ты и не знала? Я в командиры не годюсь, нет. У меня нет ни малейшей охоты браниться с прислугой, перетирать серебро, наводить порядки, возиться с мебелью и вообще вести себя «хозяином» в доме. некогда мне этим заниматься. Мне ведь нужно зарабатывать, милая, чтобы тебе было чем хозяйничать.

Фру Унэус выглянула в окно.

— А погода-то разгулялась,—сказал муж.— Вот огурцы подымутся после дождя!.. Как ты думаешь, Софи?

Фру Унэус обернулась; на глазах у нее были слезы, и она сказала тоном пониже:

— В сущности, я была сердита на тебя.

— Сердита на меня?—переспросил строитель.— Да разве я в чем провинился? Но что с тобой? Ты плачешь, Софи?

— Я так растрогана,—ответила фру Унэус.

Полуодетый строитель подошел к жене и взял ее за руку.

— Ты растрогана?—спросил он.

— Надо бы сердиться на тебя за твою трусость, а я не могу.

— Ну, еще бы!

Они взглянули друг на друга.

— Фу, чорт! До чего, однако, ты нехороша собой!—сказал строитель.

Она припала к нему на грудь, а он прибавил:

— Смотри же теперь, Софи, сдержи слово.

— Быть хозяйкой в доме?—спросила она.

— Да,—ответил муж.

— Сдержу.

Затем строитель оделся, и они сели обедать.

Небо было чистое, голубое, ветры разгуливали по улицам, где опять чувствовали себя, как дома, а солнце близилось к западу и благосклонно кивало. Все вокруг благоухало, и тихий вечер навевал мир и благодать.

Супруги Унэус вышли осмотреть сад и огород, кроткие и тихие, как самый вечер.

Но они были уже не совсем теми людьми, какими застал их восход солнца. Оба несколько изменились. Им довелось на мгновение заглянуть друг другу в душу; фру Унэус увидела, что было в душе мужа, а он—что было в душе у жены.

«Она, однако, прехрабрая!»—думал он.

«Обстановка-то теперь моя!»—думала она.

Обстановка принадлежала, в сущности, мужу, и фру Унэус всегда взидала на нее с некоторым почтением, как на своего рода именитую родню

строителя. Но теперь сам он вдруг стал в ее глазах таким маленьким, жалким и ничтожным, что и родня эта уже не могла придать ему никакого веса.

«Обстановка моя!»—решила фру Унэус и, уже совсем довольная, потрепала мужа по руке.

Смеркалось. Но кругом было так много зелени, что и сумерки спускались на дома, кусты и улицы каким-то зеленым флером.

— А теперь пора домой и на боковую,—сказала фру Унэус.

— Да, дорогая Софи,—согласился строитель.— Ты совершенно права. Я и сам думал: пора домой и на боковую.

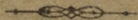
— Вот тебе впредь и развлечение—думать заодно со мной,—заклчила фру Унэус.

— Ты всегда попадаешь в точку, Софи. Вот мне впредь и развлечение—думать заодно с тобой. Самое приятное для меня развлечение.

Супруги направились в дом: строитель—слегка прихрамывая, а фру Унэус—с достоинством неся своих будущих близнецов и свою новую власть.

Но не позабыть бы нам о ветрах! Проводим супругов до крыльца, посмотрим, как закроется за ними дверь, и тогда кинем последний взгляд на окрестности.

Вода фьорда по временам слегка рябит, и по
листве пробегает трепет. Ветры спят сегодня на
горах, как чайки в шхерах. Но и у ветров, как
у чаек, есть одинокий ночной сторож; он ти-
хонько летает вокруг и смотрит—везде ли тихо
и спокойно, не грозит ли откуда какая беда.



ло
ба
Во
пр
Ц

ра
вр
го

да
де
ан

Ла
ка
зу

ну
га
он

НЕИСПРАВИМЫЙ.

I

Представьте себе невысокого кривоногого человека с начинающейся лысиной, темнорусыми бачками, черными глазами и живостью белки. Вот вам и х о з я и н Лакк, который когда-то проживал в собственном большом доме на углу Шкиперского переулка.

Стояло раннее осеннее утро, и хозяин Лакк как раз заканчивал свой утренний туалет, время от времени посматривая в окно—не творится ли чего во дворе. Ну, и высмотрел таки.

Толстый старик в высокой черной шляпе, не давая себе труда обогнуть куртины, шагал по двору напрямик, безжалостно топча увядавшие анютины глазки и астры.

— Погоди же ты, подлый старикашка!—сказал Лакк, стоя у окна со вставной челюстью в руках. Он так занялся стариком, что забыл вставить зубы на место.

Подойдя к маленькой калитке, старик протянул руку, чтобы открыть ее, но сколько ни дергал ни толкал ее, калитка не поддавалась. Тогда он нагнулся поглядеть, в чем дело, и оказалось,

что калитка забита гвоздями. С минуту старик стоял на месте в раздумье, почесывая затылок, а хозяин следил за ним с напряженным вниманием и бурчал себе под нос:

— Гм! Не вздумает ли старикашка перелезть? Навряд ли удастся!

Но старик и не стал пытаться, а попросту повернул обратно. Тогда хозяин немножко отступил от окна и вставил челюсть на место. Увидев затем, что старик остановился и погрозил палкой до направления к его окну, он расхохотался. Но смех вдруг перешел в неистовое чиханье, так что, в конце концов, челюсть вылетела в плевательницу.

Хозяин с проклятиями нагнулся, подобрал ее и принялся смывать водой приставший к ней песок. В это время кто-то постучал в дверь.

— Кто там? Войдите!—крикнул он.

В комнату вошла горничная и сделала книксен.

— С добрым утром, хозяин.

— С добрым утром! Чего тебе? Лектор пришел? Меня дома нет.

— Нет, нет, хозяин,—ответила горничная:— Шиннар сидит на кухне и спрашив...

— Ага! Иду, иду! Попроси его подождать минутку. А какова свинья?

— Не знаю... Я...

— Ну, ладно. Пусть подождет. Ступай!

Хозяин снова вставил в рот челюсть и принялся надевать жилет и пиджак, не переставая плевать, так как не успел, как следует, обмыть челюсть. Затем он поспешил в кухню, где сидел мясник, сжав шляпу между коленями.

— Здравствуй, Шиннар. Чорт побери, ранняя же ты птица!—начал хозяин, чтобы сказать мяснику приятное.

— Да,—равнодушно отозвался финн.

— Выпьешь кофейку? И рюмочку водки?

— Да,—ответил финн.—От этого не откажусь.

— Еще бы! Дают—бери!—сказал хозяин, вынул челюсть и выплюнул песок. Финн так и выпучил глаза.

— Чего доброго, Шиннар вообразит, что я сам дьявол, коли вынимаю зубы изо рта?

— Да... похоже на то,—сказал финн.

— Неужто ты никогда не видывал вставной челюсти?

— Не-ет, не доводилось...

— Вот, смотри,—сказал хозяин, протягивая ему челюсть

— Небось, у зверя взято? Человек своих зубов не даст,—изрек финн.

Вся кухня приснула со смеху. Все, кроме Йэркуера. Но, во-первых, Йэркуер был глухонемой, во-вторых, хлебал в это время кофе, а тогда его хоть за ухо щипни—не заметит.

Финн с сосредоточенным видом вертел и ощу-

пывал челюсть и даже попробовал—крепко ли сидят зубы.

— Чорт подери! Что ты делаешь!—вскрикнул Лакк, выхватил челюсть и сунул себе в рот. Но тут же вспомнил о пальцах финна и пошел к водопроводному крану сполоснуть зубы.

— Такая штука не дешево стоит! Ей-ей!—сказал он.

— Еще бы!—согласился финн.—Небось, здесь такой и не достать.

— Ну, еще бы!—отозвался хозяин.—А где же твоя свинья, Шиннар?... Да ты живей глотай свой кофе. Я, ведь, человек занятой. Ну?

— Ну,—сказал финн:—свинья во дворе. Ей ничего не станется. А вот я, коли заторплюсь глотать, ошпарюсь раньше свиньи.

— Ее-то я не трону до Рождества,—улыбнулся Лакк.—А Шиннара разве черти ошпарят в аду. Ей-ей!

— А уж это хозяин узнает, когда сам туда попадет!—спокойно ответил, финн.

— Ну-ну,—примирительно заметил Лакк, подставляя мяснику табакерку.

— Спасибо,—сказал финн, беря понюшку.—Только ежели хозяин не хочет шпарить свинью до Рождества,—так что же это выйдет?

— А что?—резко спросил Лакк.

— Разве что... сразу покруче посолить ее?..

— Посолить?.. Живую свинью!—воскликнул Лакк.

— Живую?—изумился финн.

— А то как же?—крикнул Лакк.—Или она не живая?

— Нет,—коли я уже распластал ее.

— Господи Твоя воля! Уж эти мне финны!—завопил хозяин, всплеснув руками.—Да разве я не живую свинью сторговал у тебя?

— Ну-да, она и была живая—тогда.

— Кто же тебя просил колоть ее?

— А я думал—надо.

— Так у вас, с позволения сказать, телячья башка, милейший Шиннар! На кой чорт мне теперь свинина?

— Очень даже кстати, хозяин!—вмешалась стряпуха.—Свинина-то у нас прикончилась. Последний кусок в четверг извели.

— Что?—заорал Лакк.—Свинина прикончилась? Уже? Двух месяцев нет, как я купил!

— Да,—сказала стряпуха:—как же мне-то быть?

— Скажите! Как же ей-то быть? Чорта надо спросить! А? Куда же девалось мясо?

— Я, что ли, с'ела?

— Ого! Она еще хорохорится! Разве я говорил, что она с'ела?

— К тому клоните,—ответила стряпуха.

— Нет, теперь у нее, пожалуй, другое на уме, чем об'едаться свиной!—вдруг ядовито расхохотался Лакк.

Но тут стряпуха вспыхнула и круто повернулась к хозяину.

— Ежели хозяину угодно издеваться надо мной—я ухажу. Очень мне нужно сносить издевки. Я не для того поступала на место. И не я виновата, что ваша проклятая свинина вся вышла. Да-с! И сдается мне, не к лицу вам, барину, то и дело соваться на кухню да шпынять тут всех направо и налево!

И она так загремела конфорками, что по кухне звон пошел.

Лакк побледнел, как полотно, и губы у него запрыгали.

— Вон!—заревел он.—Вон из моего дома!

— С нашим удовольствием, господин хозяин! С нашим удовольствием!—насмешливо ответила стряпуха, низко приседая.—Осмелюсь доложить господину хозяину, что мало радости служить у него в доме. Прощайте, господин хозяин! Авось свинина будет тянуться подольше, когда обзаведетесь стряпухой почестнее меня. Счастливо отставаться!

Но тут Йэркер, который, успев выпить свой кофе, с вытаращенными глазами мотал головой и, в знак величайшего изумления, высовывал язык, вдруг выкрикнул свое глухонемое:

— Нэ-нэ-нэ!

Хозяин Лакк круто повернулся к горничной и сказал:

— Ступай с Шиннаром и помоги ему убрать мясо в погреб. А потом пусть Шиннар пройдет в контору за деньгами.

Шиннар неуклюже поклонился, и хозяин Лакк, словно тень, выскользнул из кухни.

II.

Он быстро прошел в спальню, где перед зеркалом сидела фру Лакк в пеньюаре и грела на спиртовой лампочке щипцы для завивки волос.

Лакк распахнул дверь, и фру Лакк, увидев его бледное лицо, вздохнула.

— Не угодно ли тебе объяснить мне, почему это свинина у нас так скоро вышла?—крикнул Лакк.

Фру Лакк взяла щипцы, попробовала их на клочке бумаги и спокойно ответила:

— Обыкновенно, сначала здороваются.

— Отвечай мне на вопрос,—настаивал Лакк:— каким образом свинина так скоро вышла?

— Верно, с'ели. Или крысам стравили,—ответила фру Лакк.

Лакк шагнул ближе и, расставив ноги, уперся в жену взглядом, но она спокойно продолжала

завивать волосы. Дав ему постоять и не слыша от него ни слова, она обернулась и посмотрела на него.

— Да, да, смотри на меня!—сказал он.—Настанет день, когда ты не увидишь меня больше.

Маленький Томас забавлялся в уголке с мамашиними ножницами,—стриг себе ресницы. Внезапный приход отца заставил его прервать это веселое занятие и застыть на месте с ножницами в руках. Когда же он услышал последние слова отца, этот низенький человечек показался ему одной из теней, которые отбрасываются облаками в солнечные дни на горные склоны, тихо скользят и исчезают вдаль... И вся комната вдруг словно раздвинулась, в ней стало как-то жутко, пусто и мертво.

— Не собираешься ли ты повеситься из-за этой свинины?—спросила фру Лакк.

— Да, ведь, ты же хозяйка, ты!—внезапно крикнул Лакк.

— Нет, не я,—ответила она.

— Ну, да, оно, положим, и видно!

— Ты никогда не давал мне хозяйничать. Никогда не давал ничем распорядиться в доме. И я предпочитаю совсем не вмешиваться, чем то и дело получать щелчки по носу. Отвечай сам на свой вопрос. Или спроси у своих прислуг. А я ничего не знаю да и знать не хочу.

— Еще бы! Попрекать—вот это твое дело.

Езвалить на меня одного все труды и заботы!.. Я и хозяин, и хозяйка, и экономка, и кухарка, и горничная, и нянька, и дворник, и скотница— все!.. Я, работай без усталости день-деньской, суетись, высуня язык... И дела веди и бегай на рынок...

— Да, разве для тебя есть большее удовольствие, чем толкаться по базару среди мужиков? Во всем городе не найти хозяйки, которую бы знали на рынке лучше тебя.

— А в награду одни попреки!..

— Попреки? Разве я смею попрекать тебя?

— А сейчас не попрекала?

— Что? И как у тебя язык повернулся? Да разве я влетела к тебе, не здороваясь, и набросилась на тебя с расспросами—куда девалась свинина?

— Кого же мне спрашивать? У кого искать помощи по дому, по хозяйству? Или мне всю жизнь маяться в одиночку, не зная ни минуты покоя?

— У тебя полная кухня прислуги.

— На кой же прах мне тогда жена?

— Ты все толкуешь о разводе... Так разведись, наконец! Оправдай хоть раз на деле свою болтовню. Постарайся найти жену поделовитее, потверже характером.

— Ну, характера тебе не занимать стать. Ей-Богу, не встречал женщины неласковой, упря-

мей и неподатливей тебя! Я из кожи вон лезу, чтобы сделать нашу жизнь мало-мальски сносной... Но Боже мой! Что прикажешь делать, когда у тебя такая жена?

— Купить новый запас свинины,—холодно ответила фру Лакк.

Лакк с минуту посмотрел на жену и бросился к дверям, но на пороге обернулся и воскликнул, потрясая кулаком:

— Я шутить не буду! Увидишь, поверну все по-другому!

И с треском захлопнул за собою дверь.

Томас стоял в разуме, готовый заплакать. В голове у него смутно мелькало: опять с утра до вечера война, мать будет плакать, отец перестанет здороваться... не будет приходить к обеду, и день будет тянуться без конца, долгий, скучный... словно под неумолчный звон церковного колокола...

Его пробудил голос матери:

— Томас, что ты там делаешь с моими ножницами?

Но он упорно молчал.

— Нет, что же это ты наделал?! Остриг себе ресницы!?

— Да,—ответил Томас:—и теперь вижу гораздо лучше, мама.

Мать отшлепала его. Когда она кончила расправу, раздался пароходный гудок, из дверей

детской высунулись головки сестренки, и Томас крикнул им сквозь слезы:

— Чур-чур! Это «Король Эльфов!»—И продолжал всхлипывать, так как количество выплаканных слез еще не уравнивало количества полученных им шлепков.

Да, не мало бед натворила злополучная свинья в доме Лакка!

Сам хозяин был так расстроен, что даже не мог завтракать, у фру Лакк шемило сердце, Томас хныкал в своем углу, а стряпуха заливалась горькими слезами, уткнувшись головой в сундук: ей вспомнился рождественский подарок, которого ей теперь не видать, как ушей своих!..

И в самый разгар всего этого злополучия мерно и торжественно зазвонил церковный колокол, равнодушный ко всему, что происходило внизу, у подножия колокольни.

III.

Время подходит к полудню; в зале сидит фру Унэус, беседуя с фру Лакк.

Фру Унэус уже старуха; волосы у нее совсем седые, и на темени, вместо прически, черная нашлапка из кружев и лент. А нос у нее красный, но это уж не от старости, а от других причин. Теперь она потягивает вино и слушает рассказ фру Лакк об утренних происшествиях.

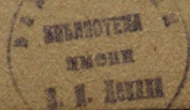
— Дитя мое,—говорит она затем:—Лакк не просто негодник, как все мужчины, но еще избалован с детства так, что никто на него не угодит. Ты не видала его ребенком, а я несчетное число раз носила его милость на своих руках. Платили бы мне по риксдалеру *) за каждый раз, я была бы теперь богачихой! Постой, я расскажу тебе, как этого ребенка воспитывали. Отец у него был чужак, а мать рано умерла. И всем домом заправляла старушонка, суцая ведьма, между нами будь сказано. При ней дом кишмя кишел старыми приживалками. Сам Лакк был добрейший старик, но в домашние дела не вмешивался и все больше молчал. Только, когда, бывало, экономка уж больно дойдет его своей воркотней, прикрикнет на нее: «Заткни глотку!» И о сыне тоже мало заботился: сдал на руки приживалкам—и дело с концом. Не диво, что мальчишку избаловали. В деньгах у старика недостатка не было, мальчишке давали на карманные расходы вволю; вот все товарищи и плясали по его дудке. Он, ведь, всегда был тароват и любил угощать. Так он и вырос. Ну, мастер был и на фортепьяно играть, и петь, и танцевать, всегда при деньгах,—немудрено, что девушки так и увивались вокруг него. Вот и избаловали в конце. А потом

*) Риксдалер—скандинавская монета, уже вышедшая из употребления; равнялась 2 нынешним кронам, т. е. приблизительно 1 рублю.

он встретит тебя. Ты была такая красotka, и я голову готова прозакладывать, что Лакк ничего не пожалел, чтобы показать себя. Негодник—так негодник и есть. Но сердце у него доброе. Золотое сердце. А уж избалован,—спору нет. И я отлично понимаю, что тебе с ним не сладко. Это всякий поймет, кто его знает.

— Прямо сил нет больше сносить такую жизнь!—разразилась фру Лакк.—Я не хозяйка в собственном доме, и с меня еще спрашивают за проступки прислуги!

— Пустое. Нет сил? Или тебе надоело сладко есть и пить да мягко спать? Ерунда, матушка, ерунда. Постарайся только понять Лакка — и ты заживешь припеваючи. Выслушай меня. Я вовсе не глупа, даром что пьянчуга. Я много насмотрелась в жизни, а кто много видел, тот и знает много. Ну, так вот. Речь о тебе. Во-первых, никогда не надо придирается к каждому слову и ставить человеку всякое лыко в строку; люди столько болтают на ветер, что лучшие всего эту болтовню пропускать мимо ушей. Запомни это хорошенько. Конечно, чего-нибудь да ты должна держаться крепко. Вот и держись того, что у Лакка на сердце, а не того, что у него на языке. Скажу тебе, он и сам не знает, кто он и что он. Да и я не знаю, кто я такая в сущности, даром что столько лет живу на свете... Со стороны-то оно виднее. Так уж устроен свет. Так вот, послушай



теперь, что я буду тебе рассказывать. Когда человек помрет, в нем словно открывается потайная дверь, через которую выходит на свет Божий крохотная фигурка, не больше букашки, так что ее и не разглядишь без увеличительного стекла. А между тем эта букашка и есть тот самый негодник, который вертит всей жизнью человека! Хочешь верь, хочешь не верь, но у меня собрана целая коллекция таких букашек — вот здесь, — сказала фру Унэус, хлопая себя по лбу. — И подчас меня такой смех разбирает, когда кто-нибудь из знакомых помрет... Для меня это все равно, что найти в рождественской каше фарфорового болванчика. И на что, думаю себе, было столько каши, чтобы запрятать такую крохотную фигурку? Ты меня прости за болтовню, но мне сдается, что это так. Вот и у Лакка сидит внутри такая фигурка. Надо только распознать ее. Удастся тебе это — и все наладится. Да, да, — закончила фру Унэус: — старость не радость, но зато дает опыт.

— А ты знаешь, что это за фигурка? — спросила фру Лакк.

— Господи помилуй! — воскликнула фру Унэус, всплескивая руками. — Я знала это еще двадцать лет тому назад.

— Так скажи скорей, — взмолилась фру Лакк.

— Нет, моя крошка, — ответила фру Унэус. — Подумай сама хорошенько об этом сегодня ночью, а завтра утром получишь записочку с

ответом. И тогда уж все остальное зависит от тебя.

С этими словами умудренная опытом старуха ушла, самодовольно ухмыляясь; она то хорошо знала жизнь.

IV.

А Томас играл на дворе и ничего не знал. Он только полагал, что надо приняться за что-нибудь, чтобы скоротать время, и, авось, после игры жизнь перестанет казаться такой безотрадной.

В саду, возле самой ограды, где раньше рос высокий тополь, у Томаса был свой уголок. Буря с корнем вырвала красивое дерево, и в земле остался только след, словно от выдернутого зуба. Здесь Томас и устроил кладбище. В сущности, он был почти что убийца: стоило ему завидеть крысу, как он старался уколошить ее. К счастью, крыс во дворе было вдосталь, и это скрашивало мальчугану многие превратности жизни. Вот и сейчас перед ним лежали рядышком пять жирных крыс, для которых он устраивал братскую могилу.

Пока он возился, солнце село и, словно светя сквозь красное стекло, залило городок заревом вечерней зари. Потом спустились сумерки, потянуло вечерним холодком, и руки у Томаса озябли.

А на ближней горе, высившейся над городом, как будто сидела в гнезде и линяла исполинская птица: нежный пух так и стлался по небу—сначала легким сизым пенлом, потом стал свиваться в облака, все гуще и гуще, темнее и темнее, потом сизый пух перешел в серый и, наконец, в черный. Но тогда на небе стали зажигаться звезды, или—как говорила мама—ангелы стали выглядывать из небесных окошек на землю, где когда-то жили детьми, вот как Томас, и, может быть, тоже копали могилки для крыс... Как знать? Но сейчас-то они, конечно, думали совсем о другом!..

По Шкиперскому переулку шла целая компания, и Томас различил голос отца. Слышались смех и оживленный говор. Томас струсил, выронил из рук крысу, которую только что собирался закопать, заполз в кусты и оттуда уже разглядел отца, строителя Унэуса с женой и других.—«А что скажет на это мама?»—подумал он, не зная, что ее уведомили заранее, и что дом уже сияет огнями навстречу гостям. Вместе с тем он инстинктивно почуял, что настал удобный момент пробраться в кухню и стянуть там что-нибудь вкусное.

Фру Лакк приветливо приняла гостей, когда же увидела глаза мужа—словно теплая струя пробежала по ее телу; она поняла, что в нем взял верх его добрый дух.

Волей-неволей им приходилось перекидываться словами о том и о сем, и она догадалась, что он нарочно привел гостей, чтобы перебросить мостик между собой и женой.

Он напоминал теперь тетерева на току: так и увивался за дамами, играл, пел и веселился, но ни разу не взглянул на жену. Она, однако, отлично понимала, для кого он распускал все свои перья,—для нее одной!

На ней было красивое синее шелковое платье и брошь—подарок мужа. И она сделала все, как он просил.

Фру Унэус сидела превеселая,—вот где был случай наклюкаться влать! И скоро ее черная кружевная нашлепка с'ехала совсем на бок. Увидя это, супруг, прихрамывая, подошел к ней и сказал:

— Софи! Ты, кажется, линияешь?

— Цыц, старый хрыч!—ответила фру Унэус, которая давно распознала фигурку, таившуюся в душе ее мужа.

Но все-таки инстинктивно схватилась за голову, и—наколка совсем свалилась. Пришлось попросить у фру Лакк позволения пройти к ней в спальню «пригладить волосы»—как выразилась фру Унэус, хотя ей собственно нужно было только прикрыть лысину,—уцелевшие волосы были достаточно прилизаны.

Стоя перед зеркалом и отдуваясь, фру Унэус обратилась к фру Лакк:

— Ну, что я говорила про этого негодника? Так бы и смазала его по роже! Утром грозит разводом, а вечером созывает гостей и тает, как сахар! Золотое сердце, золотое, милая моя! Но чертовски много ртути в крови!

В дверях показался сам хозяин.

— Ага! — сказала фру Унэус. — Не вытерпел таки, негодник? Явился подглядывать за женой? Береги ее и холь, как подобает доброму мужу; угомонись и веди себя прилично, не то я выложу тебе всю правду-матку, так что не поздоровится!

С этими словами фру Унэус вышла из комнаты, виляя турнюром, или как это называется.

А Лакк обратился к жене:

— Я утром погорячился с кухаркой. Коли хочешь скажи ей, что я ее не гоню. Я не говорю, что ты непременно должна сказать ей это, но если бы ты нашла случай, так оно не помешало бы.

Фру Лакк пристально посмотрела на него. Ее первою мыслью было: «он думает о кухарке, а не обо мне». Но потом ее словно осенило: «ах, он несуразный человек! Ведь, это он просит у меня прощения!»

И она приветливо, но спокойно ответила:

— Я постараюсь найти удобный случай.

Тогда он, как бы мимоходом и отвернувшись, схватил ее руку и крепко пожал. А затем тропливо прибавил:

— Жаль было бы потерять такую работающую девушку.

Он вышел, а фру Лакк, поглядевшись в зеркало, улыбнулась тому лицу, которое выступило там. В душу ей словно повеяло теплом от костра, разведенного добрыми домашними духами.

А на дворе выплясывал Томас. Давно ему не бывало так весело, и он мысленно обнимал и целовал отца с матерью, чего в действительности никогда не делал. И такой уж сегодня был счастливый вечер для всех, что выпало особое развлечение и на долю Томаса. Пока он выплясывал себе на траве, во двор прокрался чужой работник, а из кухни вышла горничная, оба сошлись и принялись целоваться. Томас собирался было поднять крик, но благоразумная мысль во время остановила его.

— Если я закричу, то он убежит, а Ольга рассердится и будет дуться весь ужин; тогда и всем станет невесело, а это не годится. Лучше я помолюсь Богу,—тогда я им не помешаю.

И он опустил на колени и стал молиться.

V.

По уходе гостей, хозяин Лакк с женой остались в зале: надо было прибрать после гостей.

Он беспокойно ходил по комнате, расставляя стулья и разговаривая сам с собой, но вдруг подошел к жене сзади и быстро чмокнул ее в щеку. Это вышло так неожиданно,—фру Лакк как раз собиралась зевнуть и вовсе не думала о муже,—что она рассердилась и крикнула, обтирая щеку рукой:

— Ну тебя! Ты знаешь, я этого не люблю.

В ту же минуту фру Лакк опомнилась, почувствовав, что не ладно сделала, но вместе с тем не знала, как поправить свой промах.

А Лакк, весь вечер любовавшийся ее кроткими глазами, мгновенно вскипел:

— Тьфу ты, бабье!—закричал он.—Я-то швыряю деньгами, закатываю целый пир, чтобы сделать ей удовольствие, и что же мне в награду? Воркотня! Всю жизнь ничего, кроме воркотни! О, Лакк, Лакк! Как славно ты устроил свою жизнь! Видно, под несчастной звездой ты родился!..

Тут белые крылья их доброго гения бессильно поникли, как у мертвой птицы, и над домом воспарил злой с темными крылами.

— Вот как?—сказала фру Лакк, хотя вовсе не хотела говорить этого:—Ты думал подкупить меня?

Лакк отступил на шаг и уставился на жену, но она, проглотив слезы, изо всех сил постаралась напустить на себя равнодушный вид.

Тогда он молча ушел к себе, а она к себе. И каждый, оставшись один, горько и тихо заплакал.

А сынишка их Томас спал себе крепко и знать ничего не знал.

VI.

Утром пришло письмо от фру Унэус.

«Лакк таит в душе ребенка, то-есть себя самого ребенком. Даю голову на отсечение, что, доживи он хоть до ста лет, он навсегда останется таким же младенцем. Он, к несчастью, неисправим. Понятно ли тебе, что такой человек не может быть счастлив? Он, ведь, вовсе не мужчина, хотя и смотрит мужчиной; на самом деле он только ребенок и невыносимо страдает, когда с ним обращаются, как со взрослым; с ним можно обращаться только как с ребенком. Попытайся понять это, дружок, и попытайся возможно меньше огорчаться этим. Никто из нас не может требовать от жизни большего, и многое зависит только от тебя. Если ты согласишься со мной теперь же, то все еще может уладиться к лучшему раньше, чем ты станешь такой же старухой, как твой старый, верный друг

Софи Унэус».

Прочитав это письмо, фру Лакк долго сидела неподвижно, погруженная в думы о муже. Она

мысленно представляла его себе при самых различных обстоятельствах, но всегда беспокойным, несчастным, неугомонным, полным планов и идей, то раздражительным и злым, то приветливым и грустным. И по мере того, как она думала о нем, он как будто становился в ее глазах все меньше и меньше, пока, наконец, не превратился совсем в ребенка, который прибегал к ней спрятать у нее на коленях голову. От взрослого мужчины остались только его большие черные глаза с мягким, теплым взглядом.

Невыразимая радость пронизала сердце фру Лакк, и слезы полились из ее глаз.

А хозяин Лакк с восходом солнца уехал за город по делам. Лицо его было мрачно, сердце болело по жене.

Он проклинал свою судьбу, свою непостижимую судьбу. Он всегда хотел добра, а вышло одно зло, и где он сеял улыбки, выросли слезы, тогда как у всех других людей выходило наоборот.

— Пошел скорей!—приказывал он кучеру, но убежать от себя самого он все равно не мог. А вернуться к себе и разобраться в себе самом—ему и в голову не приходило.



ДУША РЕБЕНКА.

Томас Лакк только что похоронил крысу и ужасно обрадовался, заслышав колокольный звон. Не долго думая, он выбежал на улицу, где старик Градин, ползая на коленях, полел сорную траву, пробивавшуюся между плитами тротуара, и крикнул:

— Градин! Как ты думаешь, попадет моя крыса на небо?

— Нет, не думаю!—ответил Градин.—И скажу тебе: коли твоя крыса в самом деле попала бы на небо, так я, черти возьми мою душу, и думать не хочу о таком месте. Мне и на этом свете крысы довольно насолили, чтоб им!.. Чуть было опять не чертыхнулся... А ежели от них и там не избавиться,—какой же тогда к чорту покой?

— Да, пожалуй, Градин и сам не попадет на небо. Градин такой старый... небось, столько успел нагрешить, что его и не пустят на небо.

— Может статься,—ответил Градин, копаясь между плитами.—Но...

— А я все-таки думаю, что моя крыса попадет на небо. Увидишь!—настаивал Томас.

Тут Градин в сердцах с треском ткнул рукояткой садового ножа о плитняк и сказал:

— Ну, и пусть ее! А я стою на своем. Попадись мне там хоть одна единая крыса, даже самая малюсенькая, с мышенка—я сейчас поверну оглобли назад. Настолько-то каждый должен постоять за себя, чтобы не позволять всякой нечисти водиться в таких местах. Ведь как, по-твоему, подходящее было бы дело для крыс бегать у вас по залу при гостях? Или ты думаешь, хозяин Лакк допустил бы до этого?

— Ну да, но ведь это же большая разница, Градин. То папа, а то Бог!—возразил Томас.

— О, да! Но поверь, на этот счет они согласны.

— Ты уверен в этом?—спросил Томас.

— Что и говорить! И сам посуди, что сказал бы бургомистр, или консул Смитгеннер, или хозяин наш, доведись им увидеть на том свете что-нибудь такое? Подумать только: входит туда бургомистр—во фраке, с орденом на груди—и вдруг на полу крыса! Неужто Томас воображает, что наш спесивый бургомистр найдет такое место подходящим для себя? А каково же ему будет уйти оттуда? Он, небось, каждое воскресенье ходит в церковь, только бы попасть на небо.

— А в перкви хорошо, Градин? — попытался Томас.

— Сходи и увидишь сам!—ответил Градин и сердито сплюнул.

— Да у меня денег нет,—начал было Томас, но тут вдруг раздался чей-то голос:

— Поди к отцу и попроси, чтобы он дал тебе на вход в церковь.

Томас снял шапку и шаркнул ножкой, так как перед ним был чужой господин.

— Может быть, это дорого?—сказал он.— Тогда я боюсь просить.

— Нет, мальчуган,—ответил незнакомец:— будь спокоен: с тебя немного спросят, самый пустяк, и твой отец отлично знает это. Ступай скорей.

Томас пошел — несколько нерешительно, а господин обратился к Градину:

— А ты помалкивай.

Получив четверть кроны, Градин приподнял шапку и обещал помалкивать, но, видно, это стоило ему большого труда, так как вскоре по уходе господина он вдруг почесал затылок, сплюнул и пробурчал:

— И там еще крысы! Мало здесь этой нечисти, что ли? Стыда у них нет, у этих господских ребят, черти возьми мою душу!..

А Томас, между тем, попал в беду. Он вошел к отцу и вежливо расшаркался перед ним. Отец сдвинул на нос очки и нетерпеливо взглянул на

мальчика,—по обыкновенню, он был сердит на мамашу Томаса.

— Чего тебе?—спросил он, и Томас испугался. он было ожидал, что отец спросит: «Чего тебе, балбес?»

— Папочка,—сказал он тихо.

— Громче!—потребовал отец.

— Папочка...

— Поди и стань к стене!—приказал отец.—Ну, чего тебе?

— Папочка...

— Если ты будешь артачиться, осел ты неисправимый, то я сам примусь за твое воспитание... раз твоя мать о нем не заботится! Ну? Чего тебе?

— Папочка, дай мне денег пойти в церковь.

— Что-о? Что-о?!—заорал хозяин Лакк.

Но тут Томас совсем смолк, почувяв, что случилось нечто ужасное, чего он никак не мог предвидеть.

— Ах, ты... ты... ты... ты олух Царя небесного! Вот кто ты! Олух!.. Что?

— Да,—согласился Томас, полагая, что так надо.

— Да еще упрямый осел в придачу! Пойдем к матери.

Притащив мальчика в спальню, хозяин Лакк напустился на жену:

— Нечего сказать, хорошо ты воспитываешь своих детей!

— Что такое он опять натворил?—спросила фру Лакк.

— Приходит ко мне и просит денег—пойти в церковь! Неужто ты и этого не успела внушить ему, что в церкви не берут за вход?

— Нет,—ответила фру Лакк, смеясь.—Мы так мало имеем дела с церковью, что к слову не приходилось.

— Благодарю за шпильку! Я сам знаю, что я язычник, но я не желаю, чтобы мои дети были такими же.

— Что же я могу поделать?—сказала фру Лакк.—Яблоко от яблони недалеко падает!

— Кто тебе сказал, что в церкви берут за вход?—обратился отец к Томасу, уклоняясь от ответа на замечание жены.

— Я спросил Градина, хорошо ли в церкви, а господин сказал, чтобы я попросил у папы денег и сам пошел посмотреть.

— Какой господин?

— Не знаю; он по улице шел.

— Вот как!—смущенно проговорил отец и, не прибавив ни слова, вышел из комнаты. А мать приласкала Томаса и от души посмеялась. Но Томас был сердит и напрямик высказал свое мнение:

— Вы с папой оба такие глупые, вечно бранитесь ни за что ни про что!

— Ступай играть!—сказала мать.

— Так в церкви ничего не берут за вход?— спросил Томас.

— Нет, дитя мое, не берут. Наоборот, там рады всякому, кто придет.

Томас подумал: «Там рады всякому, кто придет?.. Пожалуй, еще угощают?» И он быстро выскользнул из комнаты. Не прошло и минуты, как он мчался по улице.

У церкви стояли пустые погребальные дроги, и Томас очень обрадовался вознице, который часто катал его на навозной телеге, когда проезжал по их переулку. Возница был славный малый и знал кучу забавных историй. Томас прямо направился к своему приятелю:

— Здравствуй!

— Здравствуй, Томас!—ответил возница.

— Можно войти в церковь?—спросил Томас.

— О, да!—ответил возница.—Еще бы!

— А не надо ли что-нибудь сказать, когда войдешь?—спросил Томас.

— Не-ет!—рассмеялся возница.—Напротив, там вовсе не полагается разговаривать.

— Во-от,—сказал Томас.—И сделать ничего не надо?

— Как же,—сказал возница:—надо снять шапку.

— Во-от? Спасибо!—поблагодарил Томас, тотчас снял шапку и вошел в церковь.

Там ему прежде всего пришло в голову, что в церкви-то уж непременно водятся крысы,—хо-

лод стоял, как в погребѣ у хозяина Лакка. А второй мыслью было: «какой странный дом!» Люди казались здѣсь такими малюсенькими, и голос пастора, говорившаго впереди у освещенного солнцем креста, доносился глухо-глухо, словно издалека. Слова отскакивали от стен, как резиновые мячики, и, в концѣ концов, вылетали через двери. Пахло свежѣ-вымытым полом и ельником, которым был усыпан пол. Этот запах настраивал Томаса на серьезный и выжидательный лад: всякій раз, как у них в домѣ мыли и прибирали комнаты, отец бывал очень не в духѣ, и все держались на чеку.

Торжественно-сосредоточенный, и полный удивления, Томас тихо пробрался вперед и там увидал на скамейкѣ нищенку Кай-Кай, всю в слезах. Эта новая встреча очень обрадовала Томаса,— он сразу почувствовал себя смелѣе.

И, подойдя к Кай-Кай, он потянул ее за рукав.

— Нишкни, Томас!—шепнула ему Кай-Кай.— И ты, младенчик, пришел к Господу? Как же я рада, что вижу тебя в домѣ Божиѣм!

Томас понялъ, что Кай-Кай довольна: всякій раз, как ей подавали что-нибудь у них дома, она всегда начинала всхлипывать и говорить о Богѣ.

— А это что там в ящикѣ, Кай-Кай?—тихонько спросил Томас, показывая на катафалк.

— Это сапожник,—ответила Кай-Кай тоже тихо.

Томас уставился на нее, думая, что она шутит.

Он никак в толк взять не мог, что за удовольствие сапожнику лежать там в ящике.

— Это сапожник?—переспросил он.—Что же он там делает?

— Он умер,—ответила Кай-Кай.

— Во-от?—сказал Томас.—А что делают около него все эти люди?

— Хоронят его. Нишкни, Томас!—забеспокоилась Кай-Кай.

— Они его наняли для этого?

— Да нет же, он умер, говорят тебе!

— Ну да, но я совсем не так хороню своих крыс; я просто закапываю их в саду. А они чего же так хлопочут?

— Они препоручают его душеньку Господу Богу.

— Во-от!—сказал Томас.—Бог так хочет?

— Ну да; Он сам велел так делать.

— Во-от! А сапожник тоже слышит, что говорит пастор?

— Да нет же; говорю тебе: он умер.

— Ну да; но тогда зачем же пастор говорит? Проповедует, что ли?

— Да, проповедует,—с нетерпением ответила Кай-Кай.

— И всегда так делают, когда проповедуют, Кай-Кай?

— Да,—ответила старуха.

— И я могу проповедовать, если так буду делать?

— Нет, где же тебе, Томас! Ты еще маленький.

— Но это же совсем не трудно так говорить!

— Да ведь надо знать, что говорить, Томас.—Ты вот послушай-ка пастора.

Немного погодя, Томас опять спросил:

— А кто такой Христос, Кай-Кай?

— Тсс... мальчик!—зашикала на него Кай-Кай.

— И Святой Дух?—не унимался Томас.

Но Кай-Кай опять зашипела на него и прибавила:—В церкви нельзя болтать!

— Во-от!—сказал Томас, но, немного погодя, всетаки заговорил:

— А, ведь, тут превесело, Кай-Кай. Правда? Мне еще никогда не было так весело.

Старуха строго взглянула на него и только покачала головой, не говоря ни слова.

Вдруг заиграла музыка, и Томас очень удивился. Он нигде не видел тут рояля, и самые звуки то как будто выходили из-под пола, то пели снаружи за окошком вместе с птичками. Но вот, люди в черном взяли ящик и понесли его из церкви.

— Куда они?—спросил Томас.

— На кладбище,—ответила Кай-Кай.

И Томас увидел, как дроги тихо покатались по хрустящему песку и исчезли меж деревьями. В шестесте древесной листвы ему еще чудились

звуки органа, но вокруг все было так странно тихо... только колокола без устали рассказывали что-то. А Кай-Кай заковыляла за другими старухами; на всех были зеленые шали, и все они плакали и тараторили взапуски.

Томас побежал домой, чтобы хорошенько расспросить обо всем Градина, и сердце у него так и колотилось от нетерпения.

Он совсем запыхался, когда добежал до старика, и воскликнул:

— Ну, Градин, я был в церкви!—И замолчал, ожидая, что скажет на это старик.

— Вот как,—сказал тот.

— И там был сапожник!—добавил Томас.

— Ну, чтож,—сказал Градин равнодушно.

— Какой Градин глухой!—взвизгнул Томас.— Это, ведь, был не простой сапожник.

— Вот как,—сказал старик.

— Не-ет, он был мертвый. Вот что!

— Ну, чтож, мало ли на свете мертвых сапожников, Томас.

— Да, но там была и Кай-Кай!

— Еще бы,—сказал старик.—Она вечно там торчит.

— Градин,—начал Томас:—я бы очень хотел быть пастором, чтобы похоронить Градина.

— Нет, что такое он говорит, черти возьми мою душу! Слушать тошно!..

— Но это же превесело!

— Как не весело! Ты думаешь—больно весело умирать?

— А разве это такая мудреная штука?

Старик с минуту глядел на мальчугана прежде, чем ответить.

— Это,—сказал он с ударением:—это—самая что ни на есть дьявольская штука.

— Как так?

— Да так. Ты бы поглядел, на сапожника-то. Небось, хорош он был!

— А чтож? Очень красиво было... Сколько цветов кругом!.. Чудесные цветы!

— Ну, еще бы! А сам-то сапожник каков был?

— Чтож... верно, не хуже всякого другого сапожника!

— Ну, нет, шалишь! Ни дать ни взять гнилое яблоко,—коль ты видал такое. Видишь ли, Томас, человек, как умрет, так и протухнет, понимаешь? Такой от него запах, что и не подойти к нему близко. Да. Я даже описать тебе не могу, какая это скверность... Надо тебе знать, что в нем заводятся черви.

— У меня они сколько раз заводились; это ничего: надо только поставить промывательное—и они пропадут,—ответил Томас.

— Да, да. Как бы не так! Чорт его знает, что за штука промывательное, но попробуй-ка прогнать им тех червей, — увидишь! Нет,

там они на своем месте, понимаешь. Потому что тело должно разрушиться, и это уж дело тех червей. Они самим Богом приставлены, чтобы слопать нас, и горе тому, кто вздумает их обидеть. Беда, скажу я тебе!

— Во-от? А ктож такой Христос?

— Однако, Томас, послушай, неужто ты не знаешь про Христа?

— Нет,—ответил Томас.

— Да, ведь, это же Сын Божий!

— Так у Бога есть дети?

— Нет, детей-то у него собственно нет, но это все едино.

— И Святой Дух тоже Сын Божий?

— Не-ет, не совсем. Но тоже сродни. Они оба одинаковы, понимаешь? Дело в том, что Бог—Троица, а это значит, что Он, во-первых, Бог, потом Христос, потом Дух Святой. Значит, и Дух Святой тоже как будто Отец Христу.. А сам Христос, с другой стороны, простой человек, потому что родился сыном плотника в Вифлееме... то-есть, собственно, не его, а его невесты—Девы Марии.

— Во-от?—удивился Томас.—А далеко отсюда до Вифлеема?

— О, да, много тысяч миль.

— Так какое же дело Христу до нашего сапожника?

— Говорю же тебе: Он Бог!

— Ах, да!—сказал Томас.—И все плотники в Вифлееме... такие?

— Все плотники в Вифлееме?... Ты думаешь, Он был простой плотник? Это, ведь, было несколько тысяч лет тому назад, понимаешь!..

— Так Бог живет так долго?

— Он никогда не умрет.

— Откуда же ты все это знаешь, Градин?—недоверчиво спросил Томас.

— И тебя научат этому в школе.

— Там все это знают?

— Да, мальчуган, и это, и еще многое. Придет время, когда Томас будет знать о Боге куда больше моего; у Томаса родители богатые,—сказал старик.

— Во-от!—сказал Томас.—Ну, а теперь я проголодался. Пойду поесть.

Градин, который успел было унести мыслями совсем в другие области, даже нож выпустил от неожиданности и уставился вслед мальчугану. А тот преспокойно шагал себе, заложив руки за спину и подбрасывая камешки носками башмаков.

Старика взяло зло. Он сплюнул и пробормотал:

— Прямо волосы на голове дыбом становятся! Крысы на небе!? Мало того: помирай поскорее, чтобы угодить такому сопляку!

Но после минутного раздумья он тихонько добавил про себя:

— А всетаки... всетаки—дорого бы я дал, чтобы это был мой парнишка!



А И С Т.

А вот и другая история про Томаса Лакка. Я мог бы рассказать их целую кучу, да боюсь надоесть вам. Но прочтите терпеливо хоть эти два-три рассказа о нем; кто знает, может статься, в один прекрасный день вы встретите Томаса Лакка взрослым, умным человеком, и вам доставят удовольствие эти воспоминания из его детства.

На этот раз дело началось с того, что Томас пришел к матери и заявил:

— Удивительно, с чего это тетю Смитгеннер так ужасно раздуло?

Мать взглянула на него и спросила:

— Разве уж так сильно, Томас?

— Один ужас. Она еле ходит. Недавно я встретил ее, когда она шла с базара; ты бы послушала, как она пыхтела и кряхтела, когда поднималась на мост! А когда увидела меня, сказала:—«Да, тебе, небось, этого не придется испытать!» К чему она это сказала?

— Тетя Смитгеннер не совсем здорова,—сказала мать.

— Пожалуй, я всетаки знаю, с чего ее так раздуло,—догадался Томас.—Наверное об'едается картошкой.

— Ты думаешь?

— Да; вчера им привезли целый воз картошки. А дядя Смитгеннер увидал, плюнул и сказал:—«Ну, авось теперь надолго хватит этого добра».

— Так и сказал?—спросила фру Лакк.

— Да. А вчера Петр сказал нашей Ольге, когда она чистила картошку к завтраку:—«Больно ты много лопаешь картошки,—гляди, бочкой станешь».

— Да, так чтож, по твоему, делать с тетей Смитгеннер, Томас?—сказала фру Лакк.

— Надо посадить ее на диету!—ответил Томас.

— Пожалуй, ты прав. Я скажу ей.

— Вот и отлично.—одобрил Томас.—Не то она, того гляди, лопнет.

— Чего доброго,—ответила фру Лакк, погладила Томаса по голове и вышла.

Но Томас не переставал беспокоиться за тетю Смитгеннер и, узнав однажды утром от матери, что тетя в постели, воскликнул:

— Лопнула!

— Да нет,—ответила фру Лакк.—Не лопнула. Томас, она просто захворала.

— Ну, лопнет,—уверенно сказал Томас.

— Ты думаешь?—спросила фру Лакк.

— А доктора звали?—перебил Томас.

— Да, доктор был,—ответила фру Лакк.

— То-то!

Томас был почти доволен, что его пророчество сбывалось, а мысль о похоронах прямо обрадовала его.

— Папа, ведь, тоже понесет ее?—осведомился он у матери.

— Что такое?—удивилась мать.

— Когда тетя Смитгеннер помрет, папа, ведь, тоже поможет снести ее на кладбище? Она так часто бывала у нас.

— Фу! Томас!—прикрикнула мать. — Пошел вон!

Томас вприпрыжку отправился в кухню только что собиравшаяся поразить там всех новостью, как кухарка зашикала на него:

— Тсс! Не шуми, Томас. Сегодня внизу у Смитгеннеров ждут аиста.

Томас весь с'ежился, словно его окатили водой, на цыпочках приблизился к кухарке и спросил:

— Аиста?

— Да, аиста,—повторила она.

— Аист прилетит сегодня к Смитгеннерам?

— Да.

— А как они узнали об этом?—спросил Томас.

— Как они узнали?—переспросила кухарка и

рассмеялась.—Как люди узнают, что к ним придут гости?

— Гостей зовут,—ответил Томас.

Все в кухне разразились хохотом.

— Аист прилетал сегодня рано по-утру,—сказала кухарка:—постучался в окошко и сказал, что прилетит опять вечером.

— Так и аисты ходят в гости?—спросил Томас.

— Ну, разумеется,—ответила кухарка.

— Ага! Так я пойду спрошу у Элины, каков он собой: я никогда не видал аиста.

— У него длинный красный клюв...

— Это я знаю,—перебил Томас:—и длинные красные ноги. Но как же он говорит, когда у него клюв?

— Томаса не пустят к Смитгеннерам,—сказала кухарка:—у них барыня больна.

— Я знаю,—ответил Томас.—Она скоро поправится.

— Что такое?!—удивилась кухарка.

— Она скоро поправится,—повторил Томас.—Она об'едалась картошкой и не хотела сесть на диету, как я советовал.

— Ступай-ка ты во двор играть,—сказала кухарка, и Томаса выпроводили из кухни.

Проходил час за часом, а Томас не сходил со своего наблюдательного поста у калитки; он решился подкараулить аиста, поздороваться с ним и выспросить кое о чем. Вель этот аист принес и

самого Томаса... если только это тот же самый аист. Пожалуй, их несколько, как почтальонов? Но к Лаккам носил письма всегда один и тот же почтальон—и до рождения Томаса и теперь Так, может статься, и аист все тот же?..

Томас с неохотой явился к обеду и, как только встали из-за стола, сказал:

— Пожалуй, аист-то успел шмыгнуть в дом, пока я тут сидел.

— Да,—сказала фру Лакк:—аист явился как раз, когда мы сидели за столом.

— Я так и знал!—сказал Томас, топнув ногой.

— Явился!

— Да, как раз,—подтвердила фру Лакк.

Томас поспешно спустился по лестнице и выбежал во двор. Окна детской в квартире Смитгеннеров были освещены, но и с пригорка, куда взобрался Томас, не видно было, что творится в комнате. Тогда он влез на тополь у садовой калитки, повис на толстой ветке и стал раскачиваться, чтобы заглянуть в детскую Смитгеннеров.

Но смотреть-то оказалось нечего: комната была густа и тускло освещалась спускавшейся с потолка лампой. Но, спустя некоторое время, через комнату прошла юнгфру Сундстрём, и это навело мальчика на размышления. Юнгфру Сундстрём была повивальная бабка. Это несколько меняло дело. Уж не было ли там и пастора Лундстрёма? Томас впал в задумчивость и

стал слезать с дерева. Но пока он покачивался на ветке, произошло еще нечто.

В калитку вошли фру Унэус, фру Обюгге и фру Нордгаммаре, и, когда они проходили мимо тсноля, фру Нордгаммаре сказала:

— Последний раз ей тяжело досталось, бедной!

Слова эти без умолку звенели в ушах Томаса. Он догадался, что они касались фру Смитгеннер. «Но, ведь, больше одного раза нельзя же лопнуть,—думалось ему. Уж раз ты лопнул, так лопнул; и как только лопнул, так и умер. Но бывает, пожалуй, что лопнешь не совсем, а только немножко?» На этой мысли он успокоился.

Подойдя к дому, он взглянул в окошко к Йэркеру и, увидав, что глухонемой ошипывает птицу, подумал: «Йэркер все время тут сидел, пока мы обедали; может быть, он видел анста?»

Томас вошел в каморку, потянул Йэркера за рукав и, стараясь знаками объяснить свой вопрос, вместе с тем шопотом высказывал свои соображения.

— Йэркер!—теребил он глухонемого.

— Э-э!—ответил Йэркер по-глухонемому.

Томас ткнул пальцем в потолок, потом вынял вперед живот, описал рукой дугу вокруг своей воображаемо-толстой фигуры и, откинув голову назад, прошептал:—Больно, больно!

— Мм-мм!—промычал Йэркер, кивая головой.

Затем Томас дотронулся двумя пальцами до

оде
вы
мун
ся
тако
—
мота
дол
Т
свои
диль
дол
«осел
—
са, н
А гл
зил Т
жалоб
ками.
То
ся у
решьс
дал П
шел к
—
—
тил Пе

своих глаз, показал на окно, приставил к носу вытянутую левую руку, прижал правою ошннанную птицу к своей груди и на цыпочках прошелся мимо Йэркера.

— Ты... не... видал... аиста? В... окно? Вот... такого?—прошептал он.

— Э? Э?—спросил Йэркер, высовывая язык, мотая головой и потирая руки, что все вместе должно было обозначать полное непонимание.

Тогда Томас отшвырнул птицу, приставил к своим ушам оба больших пальца и стал поводить из стороны в сторону кистями рук, что должно было означать по адресу Йэркера: «осел!»

— Э-э!—взревел Йэркер и бросился на Томаса, но тот увернулся и живо шмыгнул в дверь. А глухонемой долго еще стоял на пороге, грозил Томасу вслед кулаком и бранился самыми жалобными, сердитыми и непередаваемыми звуками.

Томас, однако, был недоволен. Аист находится у Смитгениеров, а никак до него не доберешься!.. Проходя по двору мимо служб, он увидел Петра, который колол дрова. Мальчик вошел к нему в сарай и уселся на чурбан.

— Сколько Петру лет?—спросил он.

— Мне-то? Тридцать первый пошел,—ответил Петр.

— Раз Петр такой старый, он наверное много раз видал аистов?—спросил Томас.

— Ну, нет,—ответил Петр.—Тут не в годах дело: аисты в наших местах не водятся.

— Нет, водятся!—возразил Томас.

— Вот как. Где же?—спросил Петр.

— Сегодня один прилетел к Смиттеннерам,—пояснил Томас.

— Хе! — усмехнулся Петр.—Этакие-то аисты всюду водятся.

— Во-от? А каков он собой?—спросил Томас.

— Не знаю,—ответил Петр.—Пусть лучше Томас спросит юнгфру Сундстрём; авось, она расскажет.

Томас подумал немного и решил послушаться совета. Он отправился в кухню к Смиттеннерам, снял шапку и расшаркался,—у плиты как раз стояла сама юнгфру Сундстрём. Увидев его, она обернулась и спросила:

— Чего тебе?

— Нельзя ли взглянуть на аиста? — спросил Томас.

— Проваливай! — ответила юнгфру Сундстрём; и Томаса опять выпроводили.

Тогда он уселся на крыльце и крепко задумался. «Что это они все как будто стыдятся какой-то птицы? Или, может быть, самой птице стыдно? Чудеса да и только с этим аистом! Сам явил-

ся сюда, все о нем говорят, все его хорошо знают, и никто не хочет рассказать о нем толком!»

Томас решил попытаться еще раз обратиться к матери. И вдруг услышал жалобный вопль из нижней квартиры.

«Вот тетя Смитгеннер и лопнула!» — подумал он, и сердце у него упало. — «Помёрла!»

Обвешанный крылами смерти, неслышными шагами поднялся он по лестнице и тихо, серьезно вошел в кухню. Но тут всякая мысль о смерти вылетела у него из головы. На полу, возле дверей в детскую, лежали рядышком кухарка, горничная и скотница, приложив уши к половицам. Кухарка обеими руками замахала на Томаса, но си был так возмущен, что не обратил на нее никакого внимания и протиснулся в детскую. Там лежала на полу нянька, тоже прильнув ухом к полу. Пораженный всем этим, Томас заглянул в спальню... и там на полу лежали фру Лакк, фру Унэус, фру Обюгге и фру Нордгаммаре!.. А из нижнего этажа неслись жалобные вопли.

— Вот видишь, мама, я говорил, что она лопнет! — заявил Томас.

Четыре изумленные физиономии поднялись с пола, и фру Лакк сказала:

— Томас, сию минуту ступай к отцу и сиди там!

Мальчик засеменил из комнаты и тихонько прокрался в кабинет отца.

Отец поправлял огонь в камине и был, видимо, в хорошем расположении духа, так как погладил мальчика по голове и сказал:

— Ну, нагулялся, пострел?

— Да,—ответил Томас. — А тетя Смитгеннер лопнула!

Хозяин Лакк посмотрел на сына, поцеловал его в лоб и необычно-тихим и кротким голосом произнес:

— Подожди меня тут, Томас, я скоро вернусь.

Он вышел, но вскоре вернулся, позвонил по телефону в погребок ратуши и вызвал консула Смитгеннера.

— Готово, Смитгеннер! Все обстоит благополучно. Девочка!—сказал он.

У Томаса мелькнула мысль: «Аист-то улизнет!»—и тут же незаметно сам улизнул из комнаты.

Когда он вышел в зал, там было уже освещено, и на столе стояли фрукты, изюм, орехи и пуши.

— Где теперь аист?—задыхаясь, спросил Томас.

— Улетел!—ответила фру Унэус.

— Я хочу его видеть! Я хочу его видеть!—завопил Томас и заплакал.

Тогда фру Унэус подошла к нему и сказала:

— Пойдем скорее на веранду, Томас. Не увидим ли оттуда аиста?

Небо было сплошь усеяно звездами. Фру Унэус заслонила глаза ладонью.

— Далеко, отлетел!—сказала она.—Но я думаю, это он виднеется там вдали. Видишь ты вон ту звезду, Томас?

— Да,—ответил Томас:—но где же аист?

— А разве ты не видишь маленькой белой точки рядом со звездой?—спросила фру Унэус.

— Да там все белые точки!—возразил Томас.

— Но это совсем особенная точка.

— Я не вижу никакой особенной точки.

— Ну, делать нечего, я не могу помочь тебе. Томас,—сказала фру Унэус.

— А куда полетел аист?—спросил Томас.

— Разве ты не знаешь? — воскликнула фру Унэус и всплеснула руками.—Разве ты не знаешь, куда улетает твоя душа, когда ты спишь?

— Нет,—сказал Томас.

— Ты никогда не слышал о царстве Сна Дрёмовича?—спросила фру Унэус.

— Слышал.

— Вот туда и полетел аист, — сказала фру Унэус.—И вот откуда мы все явились,—прибавила она нежно и погладила Томаса по щеке:—и куда опять вернемся когда-нибудь. Сегодня утром оттуда прилетел аист с ребеночком для тети Смитгеннер, а теперь он уносит туда умершего. Ведь каждый раз, как аист приносит на землю

живого малютку, он уносит с собой мертвого. Вон он где летит теперь... далеко, далеко!

И, сказав это, она вернулась в комнаты.

А Томас долго стоял, прижавшись подбородком к перилам, и пытался разглядеть в вышине хоть краешек царства Сна Дрёмовича, откуда он сам явился, куда должен вернуться опять, и куда теперь летел аист.



ПЕРВАЯ СУПРУГА ТОМАСА ЛАККА.

Это было в одну из суббот бурнопламенного месяца марта. Томас снарядился в маленькую экскурсию в город; в правой рукавичке у него была засунута монетка в десять эре *).

Этому предшествовало некоторое событие.

— Томас-то наш какой большой стал. Хоть сейчас жениться! — объявила накануне вечером нянька.

— Разве всем надо жениться? — спросил он.

— Еще бы! — ответила нянька.

— Во-от? Почему же Ольга не женится?

— Никто меня не берет, — сказала она.

— А ведь Ольга такая хорошая, только некрасивая. Больно чумазая.

Нянька расхохоталась и спросила:

— А Томас, может быть, женится на Марианне?

Томас подумал с минуту и ответил:

— Пожалуй.

— Решено? — спросила нянька.

*) Эре — одна сотая часть кроны (крона приблизительно полтинник).

— Решено! — подтвердил Томас.

— А если она не захочет? — усомнилась нянька.

— Я хочу, — сказал Томас.

— А этого довольно?

— Довольно, — сказал Томас. Таким образом брак был сложен.

Теперь Томас шел за шоколадными лепешками, чтобы угостить Марианну. Давая ему монетку, мать сказала:

— Но обещай мне, Томас, что, поженившись на Марианне, ты не сделаешь ее несчастной.

— Будь спокойна, мама, — сказала Томас. — Я буду поумнее вас с папой.

Сказав это, он ушел, провожаемый задумчивым взглядом матери.

Он пустился в путь, но подвигался вперед не шибко, так как было очень скользко. Прохожие то и дело падали, а обледеневшие улицы отражали небо и облака.

Внизу у кабачка было очень весело. Старый бродяга стоял у дверей, распевая песни, другой с'езжал на «собственных» салазках с пригорка на набережную, покрикивая и размахивая шапкой, а еще двое оборванцев катались по земле у самой стены, дубая друг друга. Над ними стоял седой полицейский и уговаривал их перестать, но они и ухом не вели. Пришлось ему махнуть на них рукой.

Улицы кишмя кишели народом; день был базарный, и у Томаса, которому пришлось проталкиваться между мужиками, рыбаками и лопарями, уже начала кружиться голова. И в лавке ему пришлось долго дожидаться, пока господа за прилавком обратили на него внимание. Там толкались бабы, толстые, как бочки, толпились мужики ростом с фонарные столбы, егосили лопари и подмастерья в топорщившихся кожаных передниках. Все кричали наперебой, махали руками, а в дверях была настоящая давка. Маленького Томаса никто не замечал: он то путался среди бабьих юбок, то застревал между мужицкими сапожниками, но терпеливо сносил все, в надежде когда-нибудь добраться до прилавка, что, в конце концов, ему и удалось. Выбраться из лавки было уже гораздо легче; с фунтиком в кармане Томас поплелся по скользким переулкам в свой собственный, более мирный, квартал.

Дома он взял салазки, сел на них и с'ехал с горы прямо во двор к Марианне. Она стояла на снежном сугробе и строила крепость.

Томас собирался сразу объявить ей о своем решении, но... тут это вдруг показалось ему совершенно невозможным. Ужасно как-то неловко ни с того ни с сего подойти и бухнуть: «Давай, поженимся, Марианна!»

Да, сначала-то все казалось очень просто; ни один голос в его душе не поднимался против ре-

шения. Теперь же, при виде Марианны, в нем вдруг завопили сотни голосов: «Нет, нет, мы не хотим!» И Томас был совсем сбит с толку.

Он принялся слоняться взад и вперед по двору, засунув руки в карманы и не глядя на Марианну. Она тоже не обращала на него никакого внимания.

Что за странность! Как же это так? Что за голоса так громко кричали в нем: «нет»? Он, ведь, уж совсем решился предложить Марианне пожениться, и вдруг—стоп!?

Но вот Марианне надоела игра в молчанку, и она обратилась к Томасу:

— Чего ты ходишь тут взад и вперед, Томас? Тогда он подошел к сугробу и спросил:

— Хочешь шоколаду?

— Да, спасибо!—ответила она и слезла с сугроба.

Но тут Томасу показалось, что с ним творится что-то непонятное. Стоило Марианне посмотреть на него, как его словно зашекетало по всему телу; он весь скорчился, как в судорогах, и принялся хохотать. Марианна изумленно вытаращила на него глаза.

— Чего ты смеешься, Томас?

И вот диво! Никак нельзя было сознаться—отчего он смеется, о чем думает.

«Я смеюсь потому, что мне шекотно»,—хотел он сказать, а вышло:

— Давай кататься на салазках, Марианна!
Вовсе не это хотел он сказать.

И Томас понял, что внутри его сидит кто-то, гораздо сильнее его самого, и ведет его, куда хочет, и говорит в нем на сотни голосов.

— Давай,—ответила Марианна и вышла с Томасом на улицу.

«Гм!»,—подумал Томас, искоса поглядывая на нее, но вслух ничего не сказал. Зато внутри у него так и перекликались голоса.—«Не видишь разве,—говорил один голос:—какая она беленькая? Как снег!»—«Посмотри,—говорил другой:—у нее на подбородке прыщик».—«Эге, — кричал третий:—как она задирает нос и важничает!» И все время, пока Томас втаскивал салазки на гору, внутренние голоса наперебой старались уговорить его бросить Марианну и удрать домой.

Но Томас не удрал. Он проникся необычайным уважением к Марианне. Она будила в нем сегодня торжественное настроение, сродни тому, какое охватывало его при виде празднично-накрытого рождественского стола до прихода гостей. И где-то вдали ему мерещилась битва между двумя полчищами, сражавшимися из-за Марианны. Эти голоса внутри его принадлежали сражающимся воинам.

Когда Марианна уселась на салазки, Томас вынул из кармана фунтик с шоколадками и поднес девочке.

— Возьми себе все,—сказал он и покосился на дом, но оттуда никто не смотрел на них, и он успокоился.

Скатились несколько раз; надоело. Томас предложил пройтись по главным улицам. Он был убежден, что Марианна откажется, но она сразу согласилась.

И Томас невольно подумал: «Если это сойдет мне с рук, я никогда больше не сделаю этого». Он, ведь, отлично знал, что ни ему, ни Марианне не позволяли отходить далеко от дому.

А Марианна шла себе преспокойно, упиетая шоколадки с таким усердием, что губы у нее стали совсем коричневыми. Томас упорно отказывался от шоколада: у него пропал аппетит.

Внутренние голоса уже замолкли. В душе Томаса воцарилась гробовая тишь, в которой таилось жуткое предчувствие беды. А к этому присоединилось еще одно чувство: ему как будто вовсе не хотелось идти в город,—это Марианна увлекала его за собой, и кто-то сзади подталкивал в спину.

«Ее не разберешь!»—думал Томас, украдкой разглядывая девочку и как будто труся ее. И вместо того, чтобы сказать, как было собирался: «Пойдем домой!»—вдруг, к собственному удивлению, громко сказал:

— Как весело гулять так, Марианна!

— Да,—согласилась она спокойно, продолжая семенить вперед.

А Томас раздумывал: «Куда же это она идет?» Сам он уже ничего не мог решать самостоятельно и только покорно плелся за нею следом. Но вдруг какой-то громкий, беспечный голос произнес в нем: «Теперь уж все равно, куда бы ты ни шел—одинаково достанется, когда вернешься домой!» «Разумеется, — подумал Томас:—это совершенно верно».—И сразу успокоился.

И как только он додумался до этого, все разом переменялось. Он лукаво посмотрел на Марианну, она засмеялась и побежала, а он запел и принялся прыгать и приплясывать.

Тогда Марианна остановилась и спросила:

— Отчего ты вдруг запел, Томас?

Она смотрела на него своими голубыми глазами, и ему опять стало так шекотно, что он весь с'бился и захохотал. Но потом замолчал и серьезно пошел рядом с девочкой.

Он вдруг сразу почувствовал себя взрослым и разумным человеком, и ему показалось, что он скоро совершит что-то очень важное.

Тут из-за угла внезапно выехал целый поезд лопарей. Десятки санок, запряженных оленями, во весь дух мчались мимо детей; лопари были пьяны, горланили песни и гикали, а санки раскатывались на повороте и ныряли из ухаба в ухаб.

Марианна испугалась и схватила Томаса за рукав.

— Это колдуны,—прошептала она.

— Нет, это просто лопари,—успокоил ее Томас.

Марианна все не выпускала его руку, и он стоял, будучи не в силах двинуться с места. Ему казалось, что вся его кровь отхлынула к той руке, за которую держалась Марианна. Руку жгло, как огнем, а самого его пробирала дрожь. И каждый раз, как он взглядывал на Марианну, его подмывало отдернуть руку и удрать, куда глаза глядят,—так он теперь боялся ее. Но еще больше он боялся того, что скажут ее родители и его папа с мамой. «Ах ты, трусишка,—скажут они.—Негодяй этакий! Смазил девочку да и бросил на дороге!» И Томас не убежал, ноги его стяжелели, а сердце будто истекало кровью, которая жгла ему грудь огнем...

«Лучше бы мне никогда не знаться с ней!»—думал про себя Томас, следуя за Марианной по пятам, словно собачонка на привязи, а она шла себе, мурлыча что-то под нос и усердно уплетая шоколадки. Встречные дамы ласкали ее, она приседала, а Томас шаркал ножкой и конфузился.

На одном из углов они встретили фру Нордгаммаре, и она взяла их с собой в кондитерскую угостить шоколадом. За столиками сидело множество дам и все они дивились на парочку, ла-

скали Марианну и пичкали ее карамелями. Она краснела и приседала, а дамы громко восклицали: «Что за прелестный ребенок!» А Томас? Он сидел вз'ерошенный, вихрастый, обжигал себе язык горячим шоколадом и думал: «Нет, нет, никогда больше не женюсь! Никогда! Никогда!» Таких мучений он еще сроду не испытывал.

И чем-то еще это кончится? Марианна решительно не хотела домой. А тут, откуда ни возьмись, целая ватага мальчишек в красных шапках плотно обступила парочку.

«Вот так попались!»—подумал Томас и в ту же минуту получил снежок в физиономию.

Пошла баталия. Несколько минут спустя, Томас валялся в сугробе; красные шапки отпечевали его тумаками и пинками, натерли ему лицо снегом и задали стрекача, испуская победные вопли.

Вот так положение! Один среди огромного мира. А в нескольких шагах от него стояла Марианна и сосала карамельки.

— Кто они такие, Томас?—спросила Марианна, указывая на рыбаков, ловивших в проруби рыбу.

— А мне какое дело?—ответил Томас.—Я пойду домой.

— Экий ты трусишка!—воскликнула Марианна.

Томас хотел было вздуть ее за это, да не решился,—она была, вель, девочка.

Улицы расстилались перед ними, словно блестящие каналы, и на них спускались красноватые сумерки, когда Томас с Марианной повернули домой. Она, попрежнему спокойная, посасывая конфетки, собранные во время этого странствования по белу-свету, а он, побитый и терзаемый страхом кары, ожидавшей его дома.

Расстался он с Марианной у ее двора, пылая к ней ненавистью и враждою.

Но удивительное дело! Дома никто даже не спросил его, где он был. После обеда он выглянул на улицу и увидел светлый блестящий лед.

Тогда он опять подумал о Марианне. Голоса в его душе молчали, и он даже позабыл о их существовании. И это было удивительнее всего.

«Давай-ка, покатаюсь с ней на коньках!» — подумал он, надел коньки и покатился по улице.

На льду отражалась красная вечерняя заря, воздух был необычайно легкий, и Томасу казалось, что он летит на крыльях. Желание увидеть Марианну все сильнее разгоралось в нем; вечер был так хорош, все кругом было ему так знакомо, он был спокоен, и его не пугали никакие беды.

Вот в каком настроении катился Томас по улице. И вдруг увидел у калитки Марианну... поскользнулся и, вместо того, чтобы с шиком подкатить к ней, шлепнулся по самой середине мостовой.

Марианна расхохоталась так, что эхо зазвело в воздухе, и Томас почувствовал себя таким маленьким-маленьким, словно снежинка.

Голова и все тело ныли от падения, а щеки горели от стыда; он медленно отстегнул коньки, поднялся и, провожаемый хохотом Марианны, побрел домой; по совести говоря, он далеко не чувствовал себя героем в эту минуту.

Но что же он думал теперь об этой девочке, которую накануне вечером так легкомысленно выбрал себе в жены?

Он думал, что она самое диковинное существо в свете, и был твердо убежден, что все его злоключения произошли по ее вине, хотя и знал, что она только поддалась его приглашению. Да и в чем, в самом деле, мог он упрекнуть ее? Решительно ни в чем, между тем она была для него уже совсем не той девочкой, какую казалась еще вчера и третьего дня; и если завтра ему случится встретить ее на улице, он повернет обратно! С нею, видно, опасно иметь дело!

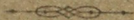
Да, Марианна совсем не такая, какую он считал ее. Но в чем же дело?

Он глубоко задумался над этим, сидя на отцовском диване и держа на коленях большую книгу с картинками. Но скоро глаза его начали слипаться, и он заснул.

Счастливец! Он и не подозревал, что этот неразрешимый вопрос с новой силой потребует

ответа впоследствии, и что за этот краткий миг забвения ему придется заплатить многими бессонными ночами.

Но это должно было случиться не раньше, чем он вырос, поумнел и научился мыслить.



Б О Г.

Вероятно, в жизни каждого ребенка настает пора, когда все мысли его устремляются к вопросу: «Что такое Бог?»

Настала эта пора и для Томаса Лакка.

Однажды весною он обратился к матери с вопросом:

— Скажи мне, мама, где находится Бог?

Фру Лакк ответила:

— Трудно сказать, Томас. Он везде и всюду.

— Во-от!—сказал Томас.—Он может быть во всех местах зараз?

— Да,—ответила фру Лакк.

— Отчего же Он никогда не был у нас?—спросил Томас.

— Да Он и сейчас здесь!—сказала фру Лакк.

— Здесь? Сейчас? Тут в комнате?

— Да,—сказала фру Лакк.

— Где же?—спросил Томас.

— Везде—вокруг нас.

— Но Его же нигде не видно,—сказал Томас.

— Его и нельзя видеть,—ответила фру Лакк.

— Он ведь Дух, а духи невидимы.

— Во-от—сказал Томас.—И Он слышит, что мы сейчас говорим о Нем?

— Слышит,—ответила фру Лакк.

— А Сам Он никогда не говорит ничего?—спросил Томас.

— Нет,—ответила фру Лакк.

— Почему же?

— Ему не нужно говорить: Он—Бог.

— Во-от!—сказал Томас.—А живет Он на небе?

— Да, на небе.

— Так это Он, верно, приходит домой вечером, как папа из конторы; вот и на небе зажигают огни, как у нас, когда папа приходит. Вот они звезды-то! Правда?—спросил Томас.

— Да, да, правда,—сказала фру Лакк.

— Ага!—сказал Томас, вышел на двор, влез на крышу, лег на спину и уставился на небо. Но скоро глаза его устали, а легкий ветерок, весенний воздух и теплая железная крыша навяли на него сон. Он уснул.

Хозяину Лакку эта весна принесла много забот. Его дела пошатнулись, и он боялся краха. И так как он, вообще, только и жил своими делами, а теперь еще опасался за судьбу жены и детей, то быстро впал в отчаяние. Похудел, начал сидеть и стал молчаливым и тихим.

Проходя по дому, он как бы оставлял за собой широкий след уныния, который не скоро сглаживался. Прежде столь оживленный дом стано-

вился все мрачнее, безжизненнее. Так тянулись недели, месяцы.

Даже Томас замечал перемену и иногда по вечерам, когда он уже лежал в постели, перед ним вдруг вставало усталое лицо отца, и мальчик начинал плакать, сам не зная, почему.

Вот когда он и стал усиленно думать о Боге. «Раз Бог может помочь такому маленькому, как я,—думалось ему:—так уж папе и подавно; папа, ведь, большой и знает, как воспользоваться Божией помощью».

И, лежа на крыше, Томас думал об этом, пока не заснул.

Когда он проснулся, солнце село, небо на западе горело пурпуром, и на землю спускались тени.

Мальчуган сложил руки и тихо произнес:

— Милый Боженька! Вечером, когда все лягут спать, я буду ждать Тебя. Приди и сядь у моей постели, а я скажу Тебе потихоньку свою просьбу. Это я не для себя, а для папы. Аминь.

Затем он слез с крыши с таким чувством, как будто ждал праздника или какой-нибудь многообещающей прогулки. А к этому чувству примешивалась еще некоторая гордость.

Время шло, и скоро настал вечер. Все в доме улеглись, в том числе и Томас, и все уже спали, кроме двоих: хозяина Лакка и Томаса. Они оба

бодрствовали, каждый в своем флигеле, но ни один не подозревал о том, что творится с другим.

«Ну, теперь скоро придет Бог!»—думал Томас. И ждал. Но никто не являлся. В доме стояла полная тишина, только сестренки посапывали в своих постельках, из спальни слышалось мерное дыхание матери, да жучек-дровосек точил деревянную стену. Ночь и тишина.

— Почему же Он не идет?—шептал Томас.

Он ждал-ждал, и все никто не являлся. Он не знал, сколько времени уже ждет; он мог измерять время только своими мыслями, и, судя по этому, можно было подумать, что прошли и утро и день и снова наступила ночь.

«Может статься, Ему надо потушить огни во всех окошках на небе, прежде чем спуститься на землю?»—думал Томас.—«Надо взглянуть, горят ли еще звезды?»

Он встал с постели и босиком подкрался к окну, отдернул занавеску и выглянул во двор.

Что за звезды! Томас никогда не видел столько звезд зараз. Не было местечка, где бы не сияла звездочка; все небо сплошь было усеяно ими словно серебром. Он так и застыл у окна, любясь этим великолеплем, и на душе у него было, как у бедного уличного мальчишки, который смотрит в окна ярко-освещенного дома, где идет детский праздник. Ему припомнились слова фру Унзус: «Там страна Сна Дрёмовича, от-

куда ты явился, Томас, и куда улетаешь во сне по ночам».

Томас посмотрел на герод. Всюду было темно; все люди спали. Все улетели в страну Сна Дрёмовича. Вот почему там наверху и пылали огни. Один Томас остался на земле, словно не званный на праздник; один он не принимал участия в общем веселье!

Томас уж готов был заплакать, да вспомнил, почему отстал от других.

При этой мысли он перестал дрожать, и ему стало тепло и весело. Да, только он один и остался на земле и был теперь один в целом доме, как бывало, когда все уходили со двора; вот Бог и придёт к нему, чтобы он мог попросить Его помочь отцу.

«Теперь наверно скоро придёт!—думал Томас.—Еще минутка, и Он будет здесь!»

И ему опять стало так хорошо в теплой постельке, и он принялся думать о том, каково-то теперь в стране Сна Дрёмовича.

Там теперь и мама, и папа, и сестрицы, и Кай-Кай—все; одного Томаса там нет. Да никто о нем и не вспомнит. Никто и не спросит. Все о нем позабыли, и это самое лучшее; пусть никто не знает, на что он решился, никто не подозревает, какой подвиг он собирался совершить!

Вдруг ему послышалась музыка. Звуки неслись

издалека-далека. Не из самой ли страны Сна Дрёмовича?

«Это Он идет!»—подумал Томас и, закрыв глаза, стал прислушиваться к музыке. Он разгладил руками простыню и одеяло, поправил воротничок своей ночной рубашки и лег прямо на спину, сложив на груди руки.

Музыка звучала нерадостно, звуки постепенно усиливались. «Не гудят ли это телефонные провода?.. Да нет, эти звуки шли слишком издалека, и в них не было обычного жужжания телефонных проводов»...

И все-таки—это телефонные провода! Томас не в первый раз слышал их музыку, но только сейчас догадался, почему она была сегодня такая печальная и красивая. На крыше сидел ангел и играл на проводах, как на арфе; без сомнения, это был сам ангел-хранитель Томаса, а играл он, чтобы приветствовать этой красивой грустной музыкой Бога, Который тихо спускался с небес к Томасу—выслушать его молитву.

— Он близко!—сказал себе Томас; ангел-хранитель заиграл громче, провода загудели, словно орган в церкви на пышных похоронах.

Томас дрожал всем телом и плотно зажмурил глаза; он начал побаиваться—не похож ли Бог на строгого пастора в черном одеянии,—музыка гудела теперь так грозно!

— Он уже близко!—прошептал Томас в ужасе; над его головой как будто гремели трубы, и длинный и тот же густой звук отдавался в крыше, а ему вторил весь дом, словно и потолки, и пол, и стены вдруг обрели голос.

«Он все ближе и ближе!»—думал Томас и спрятавшись с головой под одеяло; сердце его так и билось, участвуя в общем хоре.

В печной трубе громко ухнуло, захлопали люшки, задребезжали заслонки, за окном загрохотало, рамы затрещали, весь свет загремел и зашумел... Дом содрогнулся, словно корабль в бурю, и по крыше прокатился гром.

— Вот Он спустился с неба!—решил Томас, замер и на минуту даже впал в забытие. Теперь он понял, какой грозный вид должен быть у Бога. Вдруг Томас заметил, что под одеялом стало светлее.

«Он уже здесь!»—подумал мальчик.—«Если я не вылезу из-под одеяла, Он, пожалуй, рассердится; ведь я сам позвал Его».

Он осторожно высунул голову, открыл глаза и осмотрелся. Но Бога не нашел.

Свет проникал из полуотворенной двери спальни. Там на ночном столике горела свеча, и мать сидела на постели. Слышался чей-то голос; кто-то плакал и жаловался. Неужели это Бог?

Нет, это был не Бог, а отец Томаса; теперь мальчик разглядел его. Отец стоял на коленях пе-

ред матерью, закрыв лицо руками, а мать молча гладила его по голове.

Отец все время говорил, но так тихо, что Томас не мог разобрать ни слова.

Над домом и в доме гудело и гремело попрежнему, но Томас не думал больше о Боге. Затаив дыхание, мальчик глаз не сводил с поразившего его зрелища. Перед ним как будто распахнулись двери самой жизни, о которой он до сих пор ничего не знал. И отец с матерью показались ему вдруг такими маленькими, далекими и странными. Неужели эти двое действительно его отец и мать?

Отец все говорил тихо и медленно, мать продолжала молча гладить его по голове.

«Что же это такое?»—думал Томас, и сердце у него защемило, слезы подступили к горлу... Пришлось опять залезть под одеяло, чтобы поплакать.

А из сердца его полились молитвы. Они были без слов, взывались ввысь без участия его воли, и он не спрашивал кула,—они шли прямо от сердца, как дым от огня. Он только чувствовал, как все его маленькое тело извивается от муки и желания смягчить ту огромную и таинственную силу, которая властвовала над всем домом.

И он сам не знал, как долго его сердце без мыслей и без слов умоляло загадочную силу, присутствие которой он инстинктивно чувствовал:

но когда он опять выглянул из-под одеяла, отца в спальне уже не было, а мать сидела на постели и плакала, закрыв лицо руками.

Тут у Томаса опять потекли по щекам слезы. Сам не сознавая хорошенько, что делает, он встал, прокрался к матери и упал на колени перед ее постелью.

Мать увидала его и подняла к себе на кровать.

— Томас, Томас! — всхлипывала она, смешивая его слезы со своими. — Ты очень любишь папу?

— Да, мама! — ответил он. — Я молился Богу, чтобы Он пришел ко мне ночью. Я хотел попросить Его помочь папе, — папа такой несчастный.

— Да, папа очень несчастен. — сказала мать. — Очень, очень несчастен, Томас!

— И я думаю, Бог был здесь сегодня ночью, мама! — сказал Томас. — Я это чувствую. Мне было так жутко!

Мать горячо обняла его и сказала:

— Да, Томас, Бог посетил нас сегодня ночью.

Но мальчик уже дремал, и она так и осталась сидеть, держа его в объятиях.

Поистине в ту ночь, под звуки грома и вой бури, Господь посетил дом Лакка. Небесный огонь ударил в сердце хозяина, выжег из него спесь, высокомерие и злобу, наполнил душу кротким смирением и заставил Лакка упасть на

колени перед постелью жены со слезами и мольбой о помощи и защите.

Опять глухо загудели телефонные провода; Бог тихо продолжал свое шествие по земле.



ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДУШИ.

Все перипетии жизни Торстена Ломарка были так характерны для него, что совершенно безразлично, какую из них описать. Теория «невоизма» занимает, однако, главное место в истории его жизни, да и у других «господ» его поколения «невоизм» резко бросается в глаза, как наиболее типичная отличительная черта, поэтому я и хочу описать встречу Торстена в Париже с Матьей Клауссен: плодом их связи явилось не дитя, а именно эта пресловутая теория «невоизма».

Утром того дня, когда они впервые встретились, Торстен Ломарк гулял в толпе по одному из больших бульваров. Стояло теплое солнечное сентябрьское утро; на голубом небе, от жары подергивавшемся красными теньями, вырисовывалась меж рядами домов башня Sacré Coeur похожая на гигантское яйцо в гигантском подстаканнике. Торстен Ломарк был, по обыкновению, одет в светло-коричневый, почти рыжий костюм, — безупречно сшитый, но рыжий.

Торстен нисколько не изменился и держался

совершенно так же, как держал себя гимназистом в Эбакке или студентом в Упсале, где не сдал ни одного экзамена, и как держал себя в Стокгольме, где слонялся без дела, греясь на солнышке, поглядывая кругом и улыбаясь. Точно так же держал он себя и здесь, на раскаленном от жары парижском бульваре. Он всегда был и оставался верен себе.

Еще ребенком он так же зорко всматривался в окружающее своими голубыми глазами, скрашивавшими его костлявое лицо, светившееся умом, но сухое и бескровное, как у старика. Голова его тоже нисколько не изменилась с тех пор и, разумеется, и сегодня работала, как всегда.

Итак, он осматривался вокруг голубыми глазами, разливавшими целые потоки света; в них было что-то непосредственное, детски-свежее, почти небесное. Но маленький рот был совершенно лишен губ; между носом, похожим на клюв, и подбородком, скорее всего напоминавшим согнутое колено, шла просто какая-то неправильная изменчивая черточка, частенько растягивавшаяся улыбкой. В припадке же смеха черточка превращалась в кружок, и конец подбородка оказывался вровень с серединой кружочка, так что можно было провести от него прямую линию в глотку.

Гулял он всегда в своих неизменных рыжих костюмах, с подвернутыми панталонами, в лаки-

рованных ботинках и с болтающейся на левой руке палкой, при чем вся его маленькая тоненькая фигурка трепыхалась, вихлялась и гнулась на ходу, словно плохо свинченая. Да, Торстен Ломарк был недаром последыш, да и Бог весть при каких обстоятельствах он вообще появился на свет.

Как сказано, он шел по бульвару, оглядывая толпу, с неизменным интересом подмечая разные забавные мелочи и улыбаясь. Но вот он остановился, отхаркнул и обильно сплюнул; вынул цветной шелковый носовой платок, вытер себе губы и опять заковылял дальше, внимательно тараща маленькие круглые глазки, улыбаясь, сгибаясь и покачиваясь, чтобы минут через десять снова остановиться и отхаркнуть. Так совершала свое шествие по жизненному пути его рыжая особа до сих пор, и так было ему суждено продолжать и впредь.

Солнце приветливо сияло и припекало ему спину; он думал о каких-то смешных пустяках и улыбался, счастливый и довольный в глубине души этой прогулкой после легкого завтрака, перед тем как снова вернуться в контору.

В это же время, в то же самое жаркое сентябрьское утро, по Мон-Парнассу проходила Матья Клауссен в сопровождении белокурого

бородатого артиста, в зеленой бархатной шляпе. А на ней самой был зеленый бархатный костюм.

Они вместе пришли в ее ателье, все залитое лучами солнца, врывавшимися в широкое окно. Матья задернула оранжевую занавеску, и комната запылала пожаром. Это освещение так подействовало на артиста, что он подскочил к Матье Клауссен и, обхватив ее за талию, попытался увлечь к дивану. Но она была поглощена приготовлением чая, и так как котелок как раз в эту минуту закипел, она торопливо, но мягко высвободилась из объятий и со смехом сказала:

— Право, как это фатально для вас, что котелку вздумалось закипеть в эту самую минуту! Мне надо снять его с огня.

Эти, в сущности, дружеские слова возмутили артиста,—таковы уж эти господа! Он в изнеможении опустился на диван и сказал:

— У вас нет сердца, фрёкен Клауссен. Вам никогда не стать крупною художницею!

— Сердце тут не при чем,—ответила Матья Клауссен.—Если бы все дело было только в сердце, вы бы уж наверно давно стали великим артистом, а как вам кажется: добьетесь вы этого когда-нибудь?

Артист ответил:

— Фрёкен Клауссен, вы заперли дверь, а я вынул ключ, когда вошел.

— Вот как!—заметила она.—Напрасно. Какой

прок из того, что ключ вынут,—если женщина не сама вынула его?

Тут артист упал на колени и взмолился:

— Фрёкен Клауссен! Мы с вами в городе любви, и оба молоды...

Но она, не слушая его, отдернула занавеску и впустила в комнату солнце и свежий воздух, спокойный, чистый и отрезвляющий.

— Встаньте, дитя мое,—сказала она:—и давайте пить чай! Вы не можете сладить даже с таким дешевым театральным эффектом, как это освещение,—где же вам стать артистом?

— Не глумитесь над несчастьем, фрёкен Клауссен!

— Вам, конечно, никогда бы и в голову не пришло считаться с закипевшим чайником. Мужчины никогда не обращают внимания на такие безделицы.

Эти слова вернули артисту хорошее настроение, и он от души рассмеялся:

— Да, я уж предчувствую, что бы вы сказали, вздумай и оттащить вас силой от вашей обожаемой керосинки! Тогда, пожалуй, дело обернулось бы для меня еще похуже, чем теперь. Но для этого прежде всего понадобился бы другой на моем месте.

— Разумеется!—улыбаясь, ответила Матья Клауссен.—Разумеется!

— Но вы хороший товарищ!

- Так и будем друзьями!
- А зачем вы так чертовски красивы?
- Затем, чтобы осчастливить того, кого я жду!
- Ах счастливец!—с завистью вздохнул артист.
- Оба рассмеялись и уселись пить чай друзьями.

Торстен Ломарк, улыбаясь, вошел со своим приятелем Лукой Обюгге в кафе, где обыкновенно собирались по вечерам артисты и художники, в том числе и фрёкен Матья Клауссен. И сегодня она сидела там в кружке своих.

Торстен Ломарк вообще находил жизнь удивительно забавной, что собственно и придавало в его глазах ценность самой жизни. И теперь, глядя на всех этих потрепанных художников и артистов, готовых выпаранать друг другу глаза в споре о красоте—не о красоте друг друга и даже не о красоте дамы сердца, а просто о красоте, которая... ну, одним словом о «Красоте»!—он еле удерживался от смеха. Каждый раз, как он посещал это кафе, глазки его так и светились проническим весельем, подбородок целовался с ртом, а в глотке отрывисто, громко хлюпало,—это была его манера смеяться.

— О Господи, Лука!—сказал он.—Все на этом свете вертится, но мозги жрецов искусства на веки-вечные застыли в одной фазе!

Но вдруг он стал серьезен; он увидел черно-волосую головку Матьи Клауссен с матово-бледным лицом и ротиком, напоминавшим розовое облачко на вечернем небе, где готовы взойти величавые звезды. Впрочем, две крупнейшие звезды уже сверкали в зените, а из-за розового облачка мерцал серебряный серп луны.

— Что это за женщина?—спросил он, не в силах отвести глаз от лица Матьи.

— Мочь старика Матвея Клауссена из Сведье,—ответил Лука Обюгге.

— Представь меня!—тотчас же попросил его Торстен Ломарк.

Матья Клауссен гадала артистам; потом погадала и Торстену Ломарку, который не сводил с нее глаз, хотя маленький рот его не переставал иронически улыбаться. Каждые десять минут он отхаркивался и обтирал рот цветным шелковым платком.

— Довольны вы, господин Ломарк?—спросила Матья Клауссен по окончании гаданья.

— Очень!—ответил он, смеясь.

— Почему вы все время смеетесь? Разве вы не верите картам?—спросила она.

— Нет, совсем не верю!—ответил он.

— Зачем же вы просили меня погадать вам?

— Чтобы любоваться вашим лицом. У вас глаза вашего отца.

Матья Клауссен встретила его раздражающе-насмешливый взгляд и спросила, играя картами:

— Как вам не стыдно говорить о моем отце?

— А вам разве стыдно?—спросил он в свою очередь.

Матья Клауссен встала и промолвила, ни к кому не обращаясь:

— Кажется, пора и по домам.

Но художники и артисты уже скрѣлись в бильярдную, достаточно налюбовавшись элегантным рыжим костюмом Торстена Ломарка с засученными панталонами и лакированными ботинками.

— Разрешите мне проводить вас, фрѣкен Клауссен?—сказал он.—Не гневайтесь попусту. Кто хочет знаться со мной, должен спускаться мне кое-что и поважнее...

— А вы воображаете, что я...

— Что вы захотите продолжать знакомство? Еще бы! Нисколько в этом не сомневаюсь. Вам, ведь, не удастся уверить меня, будто вас удовлетворяет компания этих школяров и всего этого сброда.

— У вас, повидимому, весьма определенное мировоззрение, г. Ломарк?

Он был в эту минуту занят отхаркиванием и потому не сразу отозвался:

— А у вас разве нет?—И лицо его озарилось выражением такого искреннего удовольствия.

что Матья Клауссен невольно взяла его под руку, говоря:

— Ну, пойдем, пройдемся по бульвару! Ведь, мы играли вместе детьми, хотя это и было очень давно!

Пройдя несколько шагов, она спросила:

— Как вы могли заговорить о моем отце, г. Ломарк? Я, было, думала, что все, что является из тех далеких краев, красиво, нежно и сердечно, как в описаниях наших поэтов.

Торстен Ломарк рассмеялся и ответил:

— Вопрос имел свои основания. Я, ведь, никогда не имел удовольствия водиться с вашим отцом. А вы имели. Поэтому вы должны знать о нем побольше моего. Я и спросил вас. Понятно?

— Как вы не похожи на всех окружающих меня!

— Слава Богу, что вы заметили это. Во-первых, я одет, как подобает джентльмену...

— Но этим, быть может, дело и ограничивается?..

— Возможно!—сказал Торстен Ломарк, ставшись серьезным. Затем он произнес:—Небось, живо убралась.

— Кто?

— Весь ваш артистический сброд.

— Вас испугались.

— Почему же вы меня не испугались?

— А почем вы знаете?

— Зачем же вы пошли со мной?

— Вы интеллигентны, а я преклоняюсь перед интеллигентностью.

— Но меня бояться; значит, я страшен.

— Не для меня.

— А вы также интеллигентны?—спросил он.

— Как же иначе я открыла бы вашу интеллигентность?

— По закону контраста.

— Нет, я в вас прямо влюблена, г. Ломарк!

— А я в вас!

— Мы должны сойтись поближе!—взволнованно сказала Матья Клауссен.

— Сегодня же ночью?—спросил Торстен Ломарк.

— Фу!—возмутилась она.

— Я только подал реплику,—ответил он.— Вы, кажется, совершеннолетняя!

— Не прикидывайтесь дерзким, не то я сумею осадить вас!—сказала она.—Вы должны быть человеком деликатным, раз вы интеллигентны, и вдобавок застенчивым—судя по тому, что все дурачитесь.

— Так вы знаток мужского сердца?—спросил он.

— Быть может.

— И, стало быть, имели любовников?—спросил он несколько неуверенно.

— А если бы и так?

— Я нахожу это вполне естественным!—сказал он.

— И сами записываетесь в кандидаты?—ядовито спросила она.

— Этого я еще не сказал,—ответил он.

— Но думали об этом весь вечер.

— Сознательно только сейчас.

— Вы похожи на старикашку. В вас смесь старческой мудрости и младенческой сентиментальности!

— Так оно и есть,—сказал он.

— Верите вы во что-нибудь?—спросила она, немного погодя.

— Нет.

— Чем же вы живете?

— А вы чем?

— Надеждой.

— На что?

— Встретить истинную страсть, — серьезно сказала она.

— А до тех пор?

— Беру, что попадется.

— Возьмите меня,—я одинок.

— Покажитесь-ка!

Они остановились, и оба побледнели; лицо Торстена Ломарка приняло юношески-мечтательное, умоляющее выражение, а на матовом лбу Матьи Клауссен резко обозначились продольные морщины и темные круги под глазами; это уже

не было обыкновенное человеческое лицо, но маска жгучей внутренней страсти.

— Вы очень одиноки?—спросила она почти насмешливо.

— Да, благодарю вас!—ответил он, не переставая зорко наблюдать за нею.

— И страдаете от одиночества?

— А вы?—усмехнулся он и прибавил:—Простите мою усмешку! Но я, в сущности, всегда усмехаюсь. К сожалению или к счастью, ни к чему не могу отнестись серьезно.

— И это ваше мирозерцание? Но, ведь, оно же смехотворно! Ребячливо!

— По одежке протягивай ножки!—отозвался он.

— Вы смеетесь и зорко наблюдаете, бледнеет, и клевете на себя—все зараз!—сказала она.—Ну, поцелуйте меня! Я верю в ваше сердце—когда вы осмеливаетесь обнаружить его.

Целуя ее, Торстен Ломарк прошептал:

— Я люблю тебя, дивная женщина!

Она разразилась звонким смехом.

— Да, — серьезно проговорил он: — никогда нельзя знать, чего хочется женщине, и ловкий дипломат никогда не скупится на ласковое слово! Таким образом ничего не потеряешь, зато многое можешь выиграть!

Она опять расхохоталась и воскликнула:—Наконец-то я нашла мужчину, настолько интелли-

гентного, что он в состоянии шутить и смеяться между ласками. Пойдем же! Я люблю вас, гениальный мужчина! Идем!

Торстен Ломарк основательно отхаркнулся, и скоро оба потонули в туманной дали бульвара.

На Сен-Жерменском бульваре есть книжная лавка, где в окнах выставлены красивые непристойные книги. Проходя однажды вечером мимо, Торстен Ломарк так восхитился одной такой книжкой, что не удержался и купил ее.

Нависли сумерки; воздух казался мерцающей голубоватой дымкой; на углу улицы Одеон стоял человек, предлагавший прохожим бледные розы. И Торстен Ломарк, облеченный в свой элегантный рыжий костюм с завернутыми краями панталон, обутый в лакированные ботинки, купил у человека букет белых роз, таких нежных и трогательных в сумеречном освещении.

Вечер был тихий, мягкий, навевавший грезы; несколько звездочек уже затеплилось в небе; над журчащим фонтаном в Люксембургском саду сиял месяц; старый Мюрже *) притаился в тени, и Торстен Ломарк шел, улыбаясь про себя. Каждый вечер ходил он этой дорогой в гости к

*) Аври Мюрже — французский писатель, поэт, автор знаменитых «Сцен из жизни Богемы»; здесь идет речь о его памятнике.

сумасбродной дочери старого шута и сумасброда Матвея Кдауссена, о которой все на родине позабыли и которую никто не мог бы ожидать встретить здесь в Париже, да еще при таких обстоятельствах.

Но как она была прекрасна! Ее черные глаза светили мягким светом, уста были горячи, сама она была добра и нежна, хотя ее и сжигал мятежный огонь.

Сейчас она сидела в своем ателье, в широкое окно которого струился лунный свет. Окно стояло открытым, и снизу, словно шум водопада, доносился грохот и плеск гигантского Парижа; на фоне этой компактной массы звуков она различала отдельные возгласы уличных разносчиков, смех и разговоры прохожих и голос девушки, напевавшей в соседнем ателье тихую, едва слышимую песню.

А внизу, по бульвару, шел Торстен Ломарк и смеялся своим мыслям о сумасбродной дочери сумасбродного отца.

Когда Торстен вошел, она не двинулась с места.

— Здравствуй! — сказал он. — Я вижу, тебя нет дома сегодня.

— Я сижу и мечтаю о твоём старом доме в Оборде, — ответила та.

— Не советую, — предупредил он: — потому что брат Филипп перестроил весь «corps-de-logis»

и вообще многое переделал. Поставь лучше эти розы в воду и поцелуй меня.

— Ты купил эти розы для меня? Они светятся в сумерках белым пламенем!— сказала она и шепнула ему на ухо:— Любишь ли ты меня, Торстен?

— Лучшее доказательство, цветы,— ответил он.— Или ты хочешь более реального?

— Да.

— Тогда возьми вот эту непристойную книжку,— в ней множество необычайно ценных и неприличных гравюр!

Она взяла книгу и молча села на место.

— Зажечь огонь?— спросил он.

— Да... спичку, чтобы закурить папиросу.

— Ты молчалива сегодня.

— Я думала о нашем детстве и о днях, которые проходят, проходят, проходят.

— Это лучшее, что они могут сделать,— сказал он, смеясь.

— Ты всегда будешь вести такую жизнь, Торстен?— спросила она.

— По всей вероятности.

— И тебе ничего не хочется?

— А тебе?

— Мне хочется. Сегодня вечером, лицом к лицу с луною, я стосковалась...

— О чем?

— О ребенке.

— О ребенке?— тихо повторил Торстен. До-

марк, наклонился и ласково погладил ее по лицу и по затылку.—От меня?—прибавил он.

— Да.

Он вздохнул и, помолчав, ответил: — Ты любишь... я не хочу сказать... меня, но...

— Я люблю тебя, Торстен Ломарк!

— Не понимаю этого.

— Таких вещей нельзя понять,—тихо сказала она.

— И хочешь иметь ребенка? От меня?

— Да.

— И давно?—спросил он.

— Нет, мне вдруг теперь захотелось.

— Да, да! Это очень странно. Мне нечего ответить тебе.

— Разве ты не чувствуешь?.. Нет, ты бесчувственный!.. Холодный! Ты олицетворение рассудочности, расчетливости, сластолюбия!—воскликнула она.

— И воплощенное логическое смирение,—добавил он.

— Я тоскую!..—прошептала она:—тоскую... тоскую так, что сердце готово перевернуться у меня в груди. Помоги же мне! Покажи мне, что жизнь прекрасна, что... Куда же ты годишься, если не можешь дать мне восторга, экстаза!..

— Не могу.

— Что же ты можешь дать мне?—жалобно спросила она.

— Ничего, что могло бы сделать тебя счастливее,—спокойно ответил он.

— Оставь свою иронию!

— Не могу.

— Гори! Люби! Страдай! Забудься! Сними мне луну с неба!—воскликнула она.

— Не могу,—холодно ответил он.

Матья Клауссен разразилась слезами:—Что же ты можешь? Что ты можешь?

— Быть благодарным за то, что мне дается,—ответил он.

— Мне мало этого!

— И мне, в сущности, тоже, но я столь же худосочен душою, как и телом,—сказал он.

— О!—жаловалась Матья Клауссен, простирая вперед руки.—Неужели так и пройдет вся моя молодость? Неужели это и есть любовь? Это и есть столица мира, город радостей жизни? А чем же жить в старости, когда силы иссякнут?.. Чем?..

Но Торстен Ломарк за ее спиною потихоньку раскрыл только что купленную книгу и, посасывая папиросу, занялся при лунном свете разглядыванием непристойных гравюр.

— Торстен?—воскликнула, наконец, Матья:—ты никогда не приходишь в отчаяние?

— Кажется, нет,—ответил он.

— Никогда?

— Нет, насколько помню.

— Чего же ты, в сущности, требуешь от жизни?—спросила она.

— Весьма немногого. Я ведь унаследовал порядочное состояние, а потому в общем, мне кажется, все идет своим порядком.

— Ты никогда не испытывал настоящего глубокого чувства?

— Во всяком случае, заметил я это лишь раз. Должно быть, или я всегда преисполнен самых глубоких чувств, и, стало быть, то, что называют глубокими чувствами другие, просто вздор, объясняемый лишь слабым развитием мышления...

— Или? Или?

— Или... ну, другую альтернативу я, очевидно, проглотил!

Тут Маття Клауссен порывисто встала, а Торстен незаметно выпустил из рук книгу.

— Скажи, Торстен, ты искренно любишь меня?

— По своему, без сомнения, да.

— Ты никогда не думал о том, как мы разойдемся?

— Не успел еще; мы, ведь, так недавно сошлись.

— А тебе никогда не приходило в голову, что у меня может явиться ребенок, и я потребую, чтобы ты женился на мне?—тихо спросила она.

Торстен Ломарк подумал с минуту и потом ответил:

— Странно! Я всю свою жизнь искал женщину, которая прежде всего была бы женщиной, а потом уже человеком. Я надеялся, откровенно говоря, что ты именно такова, но сегодня убедился, что и ты прежде всего человек.

— Что ты хочешь сказать?

— На первом плане душа, а тело на втором.

— Что ты хочешь сказать?—повторила она.

— В решительную минуту оказывается, что наслаждение не есть для тебя главное,—ответил он.

— Тогда мне было бы стыдно!—невольно воскликнула Матья.

Торстен Ломарк усмехнулся:—Печально, что женщина никогда не может унизиться до полной потери человеческого достоинства.

— А разве можно убить человека в мужчине?

— Надеюсь,—ответил он.

Помолчав, она сказала:

— Нет, к сожалению или к счастью.

— Стало быть, ты не презираешь меня?

— Я преклоняюсь перед твоей интеллигентностью,—вдруг объявила она:—и от нее то я и хотела бы иметь ребенка.

— Ну, это, пожалуй, несколько затруднительно!—усмехнулся он.

— Скажи, мы, ведь, любим друг друга... Неужели же мы всетаки разойдемся, в конце концов? Разве не может настать день, когда мы по-

чувствуем себя настолько привязанными друг к другу, что захотим пожениться?—спросила она.

— Все может статься,—ответил он равнодушно.

— Я верю в это. И ты должен верить. И ты!—взволнованно произнесла она, прижалась к нему, ласкала и целовала его, шепча:—Если любишь меня, скажи, что и ты веришь.

Он медлил, и объятия ее ослабли. Тогда он прижал ее к себе и ответил:

— Мне надо было подумать минутку. Теперь я уверовал, Матья. Уверовал после минутного размышления.

Она укусила его в ухо, в шею и вновь осыпала поцелуями, а он смотрел своими маленькими, умными глазками в окно, на круглое небесное тело, превратившееся по смерти в маску клоуна, которая, как это ни странно, стала неразлучной спутницей земли и людей, да вдобавок—что всего страннее—вызывает у большинства из них жалостливые слезы.

Но Торстен Ломарк улыбался, потому что он принадлежал к числу тех, которые родятся с серьезной усмешкой на устах.

С этих пор связь с Матьей Клауссен получила в глазах Торстена Ломарка неожиданный интерес. Усмехаясь чаще обыкновенного, следил он за Матьей изо дня в день и спрашивал себя, как дойдет она до того, чтобы в один прекрасный

день объявить ему, подобно женщинам древнего мира: «Господин, оставь меня!»

Но и это событие, как почти все в жизни сей, совершилось довольно спокойно, после тихой, внутренней подготовительной работы.

Дело близилось к Рождеству. Дождь поливал Париж, который светился, горел и дымился внизу, словно на дне темного океана. А на высоте пятого этажа, в ателье Матьи Клауссен, сидели у камина двое наших знакомцев. Матья Клауссен смотрела на пламя, подперев руками подбородок; Торстен Ломарк читал ее старую Библию. Затем он тоже уставился на огонь, не сгоняя с лица своей неизменной усмешки.

— Меня возмущает твоя вечная усмешка,— сердито воскликнула Матья.

— Ты ошибаешься—тебя раздражает дождь, а не я. Ты никогда не раздражалась в солнечную погоду.

— Сделай мне, по крайней мере, одолжение не насмехаться над моей Библией!

— А чем твоя Библия отличается от других? Почему именно над нею нельзя смеяться?—спросил Торстен Ломарк, до-нельзя забавляясь положением.

— Ты меня ненавидишь!

— Ничуть не бывало.

— Ты обманул меня!—крикнула она.

— В каком смысле?

— Ты холоден, как лед, и не в состоянии понять мистерию любви!—объявила она.

Торстен Ломарк, не отвечая, смотрел в огонь с задумчивою улыбкою, затем провел рукой по лбу и сказал:

— А я думаю, что одно только и понимаю в жизни—мистерию любви! Но если ты можешь истолковать ее лучше меня, то...

— Она не нуждается в истолковании.

— Все подлежит истолкованию, ибо все на свете—мистерия,—ответил он.

— Почему же ты надо всем насмехаешься?

— Я только смеюсь, а не насмехаюсь

— А чему ты смеялся сейчас?—спросила она.

— Одной мысли, пришедшей мне в голову.

— Какой мысли? Почему ты все таишься от меня?

— Только потому, что ты слишком волнуешься. Успокойся, и я расскажу тебе, в чем дело,—сказал он.

— Торстен!—умоляюще произнесла она.

— Что?

— Приласкай меня!—попросила она.

— С удовольствием,—согласился он спокойно.

— Позволь мне сесть на пол у твоих ног и положить голову тебе на колени!—попросила она.

— Пожалуйста,—ответил он.

— Ну, а теперь рассказывай!

— Я читал о Моисее,— начал он:— о том, как он провел детей Израиля через пустыню и достиг, наконец, границ Земли Обетованной, как Господь возвел его на вершину горы по имени Нево и спросил: «Неправда ли, земля эта прекрасна, Моисей?» Старик согласился с Богом. «Но тебе, дано только узреть ее издали,— сказал Иегова, Который часто забавлялся таким образом чад бедным родом людским.— Войти туда тебе не суждено! Только узреть, только узреть!» Вот над чем я и смеялся. И мне в ту же минуту пришла в голову мысль назвать свою жизненную философию «невоизмом»,— это название как раз соответствует моему мистическому настроению.

— Продолжай, Торстен!— попросила Маття Клауссен.— Ты говоришь таким холодным тоном, но каждое слово отзывается слаткою болью в моей душе. Что ты понимаешь под «невоизмом?»

— Знаешь, в чем мое Нево?— спросил он.

— Скажи!

— Нево, видишь ли, бывает разного рода,— ответил он.— У этой горы было несколько вершин, но для меня высшая из них— женщина!

— Женщина?— удивилась она.

— Нево— гора экстаза и откровения!

— И я...

— Ты и есть мое Нево.

— Ах, Торстен!..

— Ты мое Нево, Маття!—повторил он.—Я прямой потомок Моисея в том смысле, что и мне некогда не суждено войти в Землю Обетованную, а потому я и взбираюсь частенько на Нево, чтобы оттуда насладиться видом моего духовного Иерусалима...

— Духовного?—неуверенно переспросила она.

— Да, духовного.

— Ты веришь в Бога?—спросила она еще более неуверенно.

— У любимого дитяти много прозвищ, мой друг,—сказал он.

— Ну, разве ты не несчастный человек?—радостно спросила она.

— Я мог бы стать им, если бы немножко поупражнялся,—смеясь, ответил он.—Но «невоизм» спасает меня. В короткие интенсивные мгновения экстаза и вдохновения, когда весь внешний мир гаснет, как свеча, и вокруг меня воцаряется тьма,—в эти мгновения я каждым своим нервом зрю бесконечные далекие миры, прекрасные, как...

— Так вот почему ты плакал, когда... бывал у меня?—спросила она.

— Да,—ответил Торстен Ломарк уже без смеха.

— Так ты... так я твое Нево?!

— Да.

— И только это тебе и нужно от меня?—неуверенно спросила она.

— Да,—ответил он.

Матья Клауссен посидела с минуту тихо, потом вдруг встала.

— Ты обиделась? Я оскорбил тебя?—спросил Торстен Ломарк.—Я ведь только хотел быть любезным, по своему.

— Да, по своему!—злобно ответила Матья Клауссен, расхаживая взад и вперед по ателье.—Теперь я понимаю!—сказала она немного погодя.—Ты никогда и не думал, что мы поженимся.

— А ты разве думала?

— По крайней мере, иногда.

— Ты никогда не женишься,—сказал Торстен Ломарк.

— Нет. Зато я выйду замуж. Я не могу довольствоваться «Нево!»

— Конечно,—подтвердил он.—Ты бродишь в пустыне и не сознаешь, что Нево—конечная цель для всех нас. Поразмысли, друг мой! Сделайся последовательницей моего умиротворяющего «невоизма».

— Никогда!

— Ах, да,—ты, ведь, женщина!—насмешливо сказал он.

— Придет время, ты сам откажешься от «невоизма».

— Едва ли. Я заметил, что самые разнообразные случаи моей жизни приводят всегда к одному и тому же результату.

Матья Клауссен сразу же поставила вопрос:—
Итак, нам надо разойтись?

— Ты хочешь этого?—спросил он.

— Хочешь!?—повторила она.

— Мне было очень хорошо с тобой, и, во всяком случае, с тобой я пришел к одному убеждению.

— К какому же?

— К тому, что Нево, действительно, является для меня конечной целью.

— Это тебя печалит?—спросила она.

— Нет, красивое становится в моих глазах еще более красивым, а безобразное—комичным.

При этих словах Матья Клауссен упала на колени и, прижимаясь головой к его коленям, с плачем воскликнула:

— Я вся дрожу от твоих слов. Почему ты не можешь любить меня и навсегда остаться со мной?

— Не могу.

— Но почему?

— Не могу, дитя мое! Я знаю только одно, что не могу. Не надо пытаться надуть доброго Бога. Он шуток не понимает.

— Но скажи хоть, что ты любил меня!—просила она.

— Да, разумеется, я любил тебя.

— И что ты не забудешь меня, когда возле тебя будут другие женщины.

— Я попытаюсь, друг мой,—сказал он:—но этого требуют все женщины. Обещать, конечно, можно всем, но трудно решить, в каком порядке надо помнить их всех.

— Уходи, уходи!—пробормотала Матья Клауссен, вставая.—А я надеялась на счастье с тобой!.. И вот!

— Надо всегда быть готовой к этому неприятному моменту, друг мой, раз хочешь забавляться эротикой.

— Забавляться эротикой!

— Да, или...

— О!.. хотелось бы мне увидеть тебя в тот день, когда растопится лед твоего сердца!

— Хорошо, Матья, если день тот настанет, и оба мы будем еще живы,—ибо весьма возможно, что это случится со мною лишь после смерти!—то я извещу тебя парой слов.

Матья Клауссен выхватила из вазочки букет поздних фиалок, разделила его пополам и, оставив одну половину себе, отдала другую Торстену Ломарку. Он взял цветы и хотел поцеловать ее, но она остановила его:.

— Эти цветы—как меч между нами! Прощай, друг мой; ты не оставляешь по себе приятных воспоминаний.

— Такова уж моя судьба, Матья!—иронически ответил он.—Зато у меня с твоею памятью будет

связана окончательная формулировка моего мирозерцания!

Сказав это, Торстен Ломарк молча надел пальто и еще раз простился:

— Стало быть, прощай, Матья! Разлука пришла несколько неожиданно.

— Наши сердца созрели!—ответила она из темноты.—Большого не требуется.

— Ты права. Мы больше не увидимся?

— Почему я знаю.

— Так прощай, Матья!

— Прощайте, сударь!..

Слова эти вновь вызвали усмешку на губах Торстена Ломарка. А когда он, неизменно стхаркиваясь каждые десять минут, шел в своем рыжем пальто по бульвару, и ему пришло в голову изложить случившееся в форме остроумной новеллы, за стаканом грога в кругу собутыльников, то рот его раздвинулся и округлился в гримасе беззвучного смеха.

Ведь, вся жизнь была для Торстена Ломарка только большим зеркалом, отражавшим его интеллигентность, и старая ломарковская кровь радовалась новой блестящей игрушке. Но еще далеко было этой крови до того Нево, которое ей так пророчески открыла благотельная любовь. Хотя то было совсем другое Нево, и открывалась с него другая Земля Обетованная.



дер
хо
С
нес
по
ф
вал
ше
Н
смо
рон
—
ска
—
вет
что
ют?
—
Фра
Ст
лаки

ВОЖАК.

Франц Геттинг проснулся, встал с постели, отдернул занавеску и выглянул в окно. Было тихое, розовое мартовское утро.

Обордская лесопильня мирно стояла, вся занесенная снегом, но из труб других лесопилен по ту сторону реки валил дым.

Франц рассмеялся. Потом окунул лицо в умывальный таз, облил голову водой, оделся и вышел из своей грязной каморки.

На дворе стоял отец его, старый садовник, и смотрел на дым, вившийся из труб по ту сторону реки.

— Чорт возьми, как ты нализался вчера!— сказал он, глядя на сына.

— Времени-то теперь не занимать стать!— ответил сын.

— Еще бы! Вы, ведь, бастуете! Тебе нравится, что наша пильня стоит, когда все другие работают? Проклятый лентяй!

— Заткни глотку, старый хрыч!— ответил Франц, вспыхивая, как зарево.

Старик тоже слегка покраснел и, сжимая кулаки, дрожащим голосом произнес:

— Не миновать тебе каторги, чорт меня по-
бери!

А сын отвечал, тараща воспаленные, хмельные
глаза:

— Сначала я, черти заешь мою душу, всажу
вам всем нож в глотки!

С этими словами он вошел в кухню. Отец сле-
дом за ним. Мать давно была в могиле.

— Где же кофе?—заорал сын.

— А чорт! Да я тебе кухарка, что ли?—зары-
чал старик.—Вари себе сам, коли тебя хватит
на это... Воровать, небось, мастер, а ты...

Франц подскочил к старику, и оба, отец и сын,
стояли плечом к плечу, с одичалыми, перекошен-
ными лицами, налитыми кровью глазами и побе-
левшими губами.

— Замолчите!—прошипел сын:—Не то...

— Не то?..

— Чорт побери! Жаль, что вы мне отец...

— Чорт побери такого сына!

— Замолчите, говорят вам!.. Не то я ударю...

— Ударь!

— Да, кабы за это не...

Но тут отец сам с размаху хватил сына в грудь.
Тот отлетел к стене и, как сноп, свалился на стул.

— Вор!—ревел старик, словно обезумевший от
жгучей застарелой боли в сердце—смеси гнева,
горя и стыда. Давно снедали его эти чувства и
сегодня прорвались наружу под влиянием попре-

ков хозяина, считавшего Франца зачинщиком этой первой в их краях забастовки.—Вор! На всякие пакости ты мастер! Мать свою в гроб вогнал, отгу ножом грозишь, а на честную работу тебя не хватает!..

И одним прыжком, неожиданно диким для такого седовласого старика, он обрушился на сына и принялся бить его по чему попало.

Сын даже не пытался обороняться и только закрывал голову руками, хорошо зная, что в припадках гнева отец становится невменяемым, и с ним не сладить и трюм.

— Помогите!..—наконец, завопил он:—Помогите! Помогите!.. Вы меня убьете! Вы меня убьете!

Старик опомнился, дрожащей рукой провел по глазам, зачерпнул ковшом воды из бочки, напил-ся и сел.

— Ты и меня в гроб вгонишь, мальчишка!—произнес он, задыхаясь.

— Уж скорее вы меня!—ответил Франц и, как побитая собака, шмыгнул мимо старика к очагу налить себе кофе.

Комната ходила ходуном перед ним; в глазах мелькали красные круги. Как субъект мало развитой, он не был способен к логической работе мысли; в мозгу его вертелись только отдельные беспорядочные представления, которые

отрыгало его сознание, как жвачные животные жвачку.

Он скрежетал зубами; мускулы его то напрягались, то ослабевали, словно у спящего животного, которому снятся тревожные сны; сердце билось неровно, то колотилось, как бешеное, то замирало, а по всему телу ползали огненные амеи. Словом, мгновенно вспыхнувшая в нем ненависть к отцу выражалась пока лишь чисто физическими, бессознательными движениями, отражениями представлений, настолько неясных и мимолетных, что он не успевал поймать и задержать их.

Но они как будто все накапливались, нагромождались и распирали его мозг. В глазах у него стало темнеть, и в этой тьме, где-то вдалеке, ему мерещился отец, маленький и бледный старикашка, на которого так и подмывало броситься, чтобы убить его, уничтожить... но что-то мешало, связывало.

Собираясь уходить, Франц уже в дверях крикнул хриплым голосом:

— Вы еще поплатитесь мне, чорт подери, за сегодняшнее!.. Будьте покойны!..

И, спускаясь с горы, он, как безумный, махал по воздуху сжатыми кулаками, подпрыгивал, извивался и корчился, словно от нестерпимой боли.

В то же самое время вышел из своей избы с гармоникой под мышкой Альберт Селан, рабо-

чий из крестьян, и направился по холмам вдоль лесной опушки.

Дорога, по которой он шел, подмерзла за ночь и теперь сверкала на солнце по весеннему. Вдруг кто-то свистнул ему с порога другой избы,—это был Хэгдаль, стоявший на крыльце с непокрытой головой.

Селан терпеливо остановился в ожидании товарища, поглядывая на видневшееся за лесом море; на горизонте тянулась длинная полынья и сверкала при утреннем освещении стальным блеском, а в воздухе как будто плясали мелкие искры.

— Откуда у тебя гармоника? — спросил серобледный Хэгдаль краснощекого, загорелого Селана.

— Это Францова!—ответил Селан.—Я нашел ее ночью у пильни, когда проходил мимо. Да, вот, еще эту рукавичку. Он, видно, лежал там в сугробе с которой-нибудь из девок; в снегу остались следы.

— Это—рукавичка Боденовской Альмы. Вечно он с девками хороводится, хват!

Они шли как раз мимо господской усадьбы, и Селан проговорил:

— Он лихой парень, этот Франц. Через месяц хозяин скувырнется,—увидишь! Вот каков Франц.

— Франц!—раздраженно крикнул Хэгдаль.—К

чорту на рога полетите вы со своим Францем. Мне ли не знать Франца? Обернется дело хорошо—он будет хвастаться, а если плохо—нам быть в ответе.

— Плохо, ха-ха-ха!—расхохотался Селан.— Чорт меня побери, если у хозяина уже не вылетело из кармана несколько миллиончиков! А больше-то у него и не наберется!.. Чорт! То-то, небось, трусит он Франца!

— Ну, а я думаю, Франц сам виляет хвостом перед хозяином!..

— Франц виляет хвостом перед хозяином? Чорт побери! Ты никак очумел, парень!..

— А то не виляет, что ли? Дьявол его возьми! Ты думаешь, у людей глаз нет? Сам погляди: оя и по будням всегда при галстукe и манишке, щеголяет в шляпе да в щиблетах. А в Народный дом его и не заманишь, коли там нет танцев и выпивки. Чорт побери, не очень-то я доверяю Францу. Нет, он вовсе не настоящий рабочий, скажу я тебе. Я это давно уж заметил. Ему на всех нас наплевать. Попадись ему только деньги в руки!..—Хэгдаль закончил фразу выразительным свистом и прибавил:—Видна птица по полету, скажу я тебе!

— Ну, чего там! Ты просто завидуешь ему!.. Перестань злиться, парень! Печонка лопнет! Франц такой красный... красивее нас с тобою вме-

сте, а тому... в усадьбе... он еще подложит бомбу, дай срок!

— Да пусть-ка подложит, дьявол, тогда и будет видно, к чему он годен, а то болтать языком-то всякий горазд... Гляди!.. Старик-чухна со своими мальцами вышел-таки на работу! Черти этакие!.. Пырни их ножом! Пристрели проклятых штрейкбрехеров! На какого же чорта ты крестьянин? Или ты ничего не чувствуешь, проклятая деревенщина? Или не знаешь, что старый чорт Ломарк весь свой век надувал крестьян, скупал у них лес, держа в одной руке Библию, а в другой—стакан с водкой, спаивал, и грабил народ! А мы—дети народа!..

— Ах, чортов кус! Будь он жив, я бы ему показал! Но, видишь ли—Франц... он все знает!

Тут Селан, который сам-то, в сущности, знал очень мало, неучтиво обернувшись к барской усадьбе задом, отсалиютовал ей на особый манер.

— Ну, этим ты капиталистов не запугаешь, чорт возьми!—сказал Хэгдаль.

— Положим,—сказал Селан:—но погоди, все еще повернется иначе, вот увидишь, чорт возьми!

Тут они подошли к лавке Соландера.

Альма стояла у прилавка, а Соландер, навалившись на прилавок, заглядывал ей в глаза. Эта стройная, очень бледная брюнетка, с дерзкой посадкой головы и вызывающим выражением лица, с тонкой шеей, соблазнительно белеющей из-

под темных волос, хрупкая, но выносливая, сознательная, взбалмошная и порочная,—принадлежала к новому поколению сверстников лесопилы. Каждому мало-мальски вдумчивому наблюдателю должно было броситься в глаза, как быстро вырабатывался здесь, в долине, этот дегенеративный, порочный тип, свойственный старинным крупным фабричным центрам за границей.

Увидев Альму, Селан показал ей рукавичку.

— Это твоя?—спросил он.

— Давай сюда!—отозвалась она.—Где ты ее нашел?

— Ты потеряла ее ночью, когда валялась с Францем по сугробам!—ответил Селан.

— Это тебя не касается!—огрызнулась Альма и потянула рукавичку к себе, но Селан быстро нагнулся, приподнял подол платья девушки и уцепился за нее.

Она ответила ему звонкой пощечиной.

— Чорт! Разве мы с ним не условились делить все по-братски?—заорал Селан, взбешенный болью, схватил девушку за плечи и грубо отшвырнул в угол, где она покатила на пустые банки из-под карамели.

— Потихе, дьявол! Ты ведь в лавке!—закричал Соландер. Альма вскочила, прыгнула к Селану, плюнула ему прямо в лицо и осыпала его градом таких проклятий и ругательств, которые

я затрудняюсь передать, до того они переходили всякие границы допустимого.

Хэгдаль тем временем увидел в стеклянную дверь лавки приближавшегося Филиппа Ломарка с братом Эриком.

— Глядите, вон идут кровопийцы!—громко сказал он.—Глядите, как их пальто лоснится на солнце, точно шелковые, чорт поberi, а это, ведь, пот рабочих!.. Дьяволы, кровопийцы!—бормотал он, грозя братьям сжатыми кулаками.

— Н-да,—произнес Селан:—он себе разгуливает, как ни в чем не бывало... Да не долго ему гулять!

— Ну, ты, трусишка! Ты только с бабами смел! Тебе разве по плечу всадить нож в мужскую глотку? Как бы не так!—издевалась Альма.—А хозяин—важный парень, франт, носит шелковые подштанники и шелковые носки!.. Я бы могла слюбиться с ним, стоит захотеть!..

— Скажи-ка ему это!—сказал Хэгдаль.—Он, кажись, идет сюда.

В лавке стало тихо. Все подобралось, лица замкнулись, взоры потухли, головы понурились, зверь укротился, и когда Филипп Ломарк распахнул лавочную дверь с дребезжающим колокольчиком, то застал в лавке нескольких молчаливых, сумрачных суб'ектов, которые показались ему обыкновенными людьми, хотя и безработными; он и не подозревал, что перед ним были

звери, у которых внутри все ходуном ходило, клокотало и выло от бешенства.

— Здравствуй, Соландер!—холодно сказал Филипп Ломарк.—Мне жаловались, что Соландер тайком торгует водкой, и что по вечерам тут до глубокой ночи идет гульба. Правда это?

Соландер раболепно изогнулся и, бегая глазами, ответил:

— Нет, уверяю вас, господин хозяин!.. Ни единого слова правды!..

— Во всяком случае,—продолжал Филипп Ломарк:—берегитесь, чтобы до меня больше не доходило подобных слухов! Иначе я принужден буду закрыть лавку. Соландер понял меня?

— Да,—ответил тот.

— Прощайте!—сказал Филипп Ломарк, но в дверях остановился и прибавил:—А тебе, Хэгдаль, еще не надоело праздновать?

— Нет еще,—протянул тот.

— У тебя даже хватает средств на папиросы, хотя ты и не зарабатываешь ни гроша. Уж не рабочий ли союз оплачивает папиросы? А ты, Селан? Как будто отдохнул уже. И не стыдно вам всем болтаться без дела?

Ответа не было.

— Ну, вините самих себя!—сказал Филипп Ломарк.—Прощайте. Я только предупреждаю, места ваши ждать вас не будут.

С этими словами он вышел.

Хэгдаль плюнул ему вслед на дверное стекло.
— Дьявол... чорт... скотина... кровопийца..
тиран...—шипел он, чуть не плача от злости.

Селан угрюмо навалился на прилавок. Альма поглядела на всех и проговорила:

— Только что все вы хвастались тут напропалую, а чуть завидели его задние лапы—всю вашу храбрость как рукой сняло, трусишки вы этакие!

— Ладно!—отозвался Селан.—Дай срок! Дай срок!

В эту минуту дверь отворилась, и вошел Франц Геттинг. Он сразу заметил на прилавке свою гармонику и двинулся прямо к ней, грозно вопрошая:—Кто смел взять мою гармонь?

С его приходом настроение в лавке вновь изменилось.

— Взять?—негромко отозвался Хэгдаль.—Что ты хочешь сказать? Ты думаешь, тут есть воры, а?

Франц быстро обернулся.

— Что?—завопил он.—Воры? Кой чорт говорит тут о воровстве? Или уж и слова сказать нельзя?

— То-то вот и есть!—сказал Хэгдаль.—Я-то разве сказал что-нибудь обидное для тебя?

— Придержи язык, чтобы не болтать зря! Ты, ведь, только на это и горазд!—сказал Франц.

— Еще бы! Ты-то ходил в школу с самим хо-

зянном, тебе и книги в руки, а мы простые рабочие.

Франц посмотрел на Хэгдаля, затем подошел к нему и положил ему руку на плечо.

— Перестань вздорить, Эрке!—сказал он.— Разве мы с тобой не товарищи? А?

— Ладно, болтай! Ты бы лучше сделал что-нибудь.

— А ты сам-то на что?—ответил Франц.— Почему это я должен отдуваться за всех? Меня ругают за то, что я ходил в школу, и все-таки я должен стараться за всех вас, а когда дело не ладится—во всем остаюсь виноват один я. Я, чорт меня побери, вовсе не навязывался вам в вожаки... Это вы все перекоряетесь...

— Ты первый начал драть глотку.

— А почему бы мне, чорт подери, и не поговорить? Что за идиотство!

— Прирежь хозяина, пусти ему красного петуха, а то чорта ли в твоей болтовне?

— Режь сам, дьявол! Что я тебе за мясник дался!

— Еще бы! Тебе, небось, больше по вкусу было бы стать таким же фертом и жить нашим потом! Само собой, чорт возьми!

Франц по очереди обвел глазами его, Соландера и Селана и в недоумении спросил:

— Какого чорта?.. Что с вами, парни? Разве я когда шел против нашего дела? Разве я вино-

ват, что учился когда-то в школе? Неужто я, по вашему, заодно с хозяином? Ха-ха-ха! Я сейчас встретился с этим дьяволом, и он даже не удостоил меня ответом на мой поклон. Будь спокоен, Хэгдаль, это ему даром не пройдет!

Тут Селан поддержал его:

— Знай, Франц, во мне ты всегда найдешь верного товарища.

Франц подошел к Альме и обнял ее, а она взглянула на него преданным, влажным взором.

Он взял гармонику, сел на боченок из-под се-ледок и, нагнувшись над инструментом, заиграл тихую, печальную мелодию. Музыка уgomонила взбудораженные чувства; угрюмая, холодная вялость охватила всех в лавке, где светлыми косыми лентами тянулись лучи солнца и слышалось монотонное капанье талого снега с крыши.

Вскоре в лавку зашло еще несколько человек, одинаково угрюмых, вялых и враждебно настроенных против Франца, по причинам, которых сами или не могли себе уяснить, или же не хотели, так как стыдились их.

Суть-то, если уж говорить начистоту, была в том, что Франц слишком много болтал о подгнивших устоях капитализма, о новых счастливых временах, когда можно будет зарабатывать большие деньги; рассказывал, как развиваются рабочие союзы за границей, как там рабочие расправляются с хозяевами, ждут их дома и захваты-

вают имущество, как давно началась там эта война, и как много побед уже одержали рабочие. И вот эти рассказы разжигали кровь в его товарищах. Время назрело; разнузданная жизнь господ открывала рабочему люду глаза; развившаяся промышленность увеличивала заработки, а деньги сулили наслаждения; женщины рабочего класса преображались и становились соблазнительными, разжигая страсти мужчин, и какой-то сосущий, мятельный страх и жажда жизни томили всех день и ночь. А рассказы Франца подливали масла в огонь.

Чего-чего ни сулило им будущее!

Но что же мог дать им он сейчас, этот Франц, годами кормивший их одними словами да обещаниями могущества и наслаждений? Мрачный, бессильный, жалкий сидел он, нагнувшись над своей гармоникой, никуда не годный, едва смеющий взглянуть в глаза товарищам.

И все-таки! Все-таки они гордились им. У него была связь с господами, он когда-то шел одной с ними дорогой; он был падший ангел, и, вслух излекаясь над его «образованностью», они про себя преклонялись перед ним. Может быть, он все-таки знает нечто и посвятит их в свою тайну, поведет их к рассвету, по которому они давно тоскуют среди окружающей их тьмы.

Но если он не сможет, они припомнят ему, что он вор. Честность—единственное их достоинство, и

они сумеют выместить на нем свою неудачу! Раздавят его, воришку!

Нерешительность, страх, тоска, надежда и глубокая ненависть окружали этого развинченного юношу по имени Франц Геттинг, которому судьба взвалила на плечи столь непосильную задачу.

Он молча сидел, склонясь над своей гармоникой, и играл тягучие, грустные мелодии... Наконец встал, зевнул и объявил, что пойдет домой спать.

Тупо-удивленными, чисто животными взглядами проводили рабочие стройного юношу с развевающимся красным галстуком на шее.

Чей-то голос глухо произнес:

— Ежели этот дьявол вздумает надуть нас, ему не сдобровать!

Влажный воздух беспокойно колыхался под сумрачным небом, словно бесцветная жидкость в прозрачном сосуде. И хотя ветер был прохладен, он распял сердца и разливал такую тревогу в крови, что рабочие с лесопильного завода растерянно озирались кругом, не зная, как и чем избыть эту гнетущую тревогу и страх.

Высокие оголенные кроны берез шуршали и шумели, и шорох их напоминал журчанье зимних ручейков; на ветвях качались вороны, глубоко-

мысленно уставясь взглядом в даль, за леса и горы.

В жаркие летние дни шуки часто отдыхают в иле, часами тараща глаза в пространство, пови-
димому, ничего не сознавая и только маши-
нально потихоньку шевеля плавниками.

Рабочие в этот день напоминали стаю таких шуков, стоя на ветру, в зареве вечерней зари. Они машинально перекидывались словами, но по их вытаращенным глазам видно было, что они ни о чем собственно не думают.

И как раз в это время, с наступлением сумерек, вышел из дому Франц Геттинг, позевывая, засунув руки в карманы и раскачиваясь на ходу. Он проспался, и сон вымел из его головы тяжелые мысли, окропил росой его душу, освежил фантазию, укрепил волю и веру в себя. Главное же—Франц проснулся как раз на вечерней заре, наполнившей долину фантастическим красным светом и создавшей чисто театральный эффект. Между красными и мечтательно голубыми горами расстилался лед, переливаясь всеми цветами радуги, словно сверкающее стекло, небо весело сияло, украшенное яркой вечерней звездой; темнота еще только назревала в пространстве, все очертания расплывались, и все кругом словно таяло. Что-то праздничное было разлито в мире перед наступлением полной тьмы; день старался блеснуть на прощанье; все горело, прежде чем

потухнуть; и в душе радость боролась с грустью, и подымалось томительно-страстное желание тоже растаять и исчезнуть вместе с дневным светом, слиться с тьмой.

Тревога и томление наполняли душу Франца и других рабочих, но они были бессильны сознать— что такое, в сущности, волновало их, страдали от этого и горели желанием сбросить с себя бремя непонятной тревоги.

Филипп и Эрик Ломарк возвращались с послеобеденной прогулки верхом, и, когда они исчезли в сумерках, Франц громко произнес своим резким тенором:

— Ребята, кто заодно со мной? Зададим-ка этим дьяволам загадку ночью! Пора приняться за дело. Они что-то уж больно разважничались!

— Отлично, Франц! Ты—настоящий товарищ!—забормотали все кругом, и темные тени окружили его тесным кольцом.

— Через час,—продолжал Франц:—проклятые штрейкбрехеры потащатся домой с лесного двора. Я предлагаю встретить их на льду да угостить хорошенько!

Послышался одобрителный ропот.

Альберт Селан, деревенский парень, весь тот день дул водку и совсем одичал. Франц отвел его в сторону и сказал:

— Послушай, Альберт! Ты, ведь, добрый товарищ?

— Дьявол возьми мою душу! Да здоровствует старая Швеция, парень!—бормотал Селан, приплясывая.

— Тебе надо обделать одно дельце, Альберт!—продолжал Франц.—Ты должен отомстить господам за то, что они ограбили вас, крестьян!

— Ладно, брат!—вопил Селан.

— Пристукни старого чухну!—прошептал Франц.—Изловчись напасть на него сзади,—тогда никто тебя не увидит и не донесет!

Селан пожал Францу руку и расплакался.

— Ты мой единственный друг, Франц!—всхлипывал он:—и я всегда тебя защищал, когда эти дьяволы ругали тебя. Я знаю, ты мне доверяешь, и чорт меня побери, если я не выпущу кишки этому проклятому хрычу. Альберт Селан умеет держать свое слово! Надейся на меня, Франц!..

А Хэгдаль тем временем тихо говорил жадно слушавшим его товарищам:

— Пойдем и мы, а если что случится, так за всех ответит Франц. Чего нам считаться с воришкой!

Люди перешептывались в темноте; всюду протягивались черные тени; небо хмурилось; звезды печально мигали, холодный ветер заунывно свистел, и вся долина как будто дрожала от холода.

Возле угольного склада зимовало несколько старых барок, а мимо барок шла по льду дорога, по которой штрейкбрехеры ежедневно возвращались в свою избу на берегу реки.

Франц с товарищами устроил засаду за одной из барок, выслав разведчика, который должен был выследить штрейкбрехеров и донести о их приближении.

Рабочие коротали время, как умели. У них была с собой четверть водки, которая ходила в круговую. Весь день они тянули спирт, и между ними не было ни одного вполне трезвого. Хмель туманил им головы, застилал от них действительность; тени и тьма сливались в одну обширную массу, образуя черный фон, на котором особенно резко выделялось все светлое и блестящее. Ряд пламенеющих и окутанных красноватым дымом угольных куч вдоль берегов казался фантастической аллеей, ведущей вверх к крупным ярким звездам, которые светились как будто двойным блеском, озаряя темную долину.

Огни угольных ям освещали также лесопильню и бараки рабочих, а сквозь деревья парка лился белый свет из окон барской усадьбы.

В засаде было ни темно ни светло, подчас вспыхивал огонек раскуренной трубки и опять погасал, и лица то выступали на миг из сумрака, то опять так же быстро исчезали.

Двое рабочих плясали на утоптанном снегу, а другие стояли, прислонясь к барке, с папиросами в зубах.

— Будет вам плясать-то!—сказал кто-то:— берегите силы для чухонских дьяволов!

— Ну, их всего четверо!—заметил Хэгдаль.

— Утопить их в проруби, да и дело с концом!

— Эй! послушайте, ребята! — проговорил Франц.—Наберем ледяшек и запалим в них,— пусть почешутся, черти!

— Это дело!—забормотали рабочие и принялись усердно подбирать осколки льда и комки мерзлого снега.

Селан продолжал свою дикую пляску на снегу, а весенне-зимние звезды мигали словно от огорчения.

— Чего это чухны запропастились?—ворчали некоторые.—Становится холодно, чорт подери!

Тут прибежал разведчик.

— Идут все четверо!—прошептал он, запыхавшись.

Остановили пляшущего Селана, побросали папиросы, выбили трубки и притаились за баркой; сердца учащенно бились, в горле пересохло от водки и от волнения, в животах глухо урчало, а рты у некоторых растягивала нервная зевота.

— Ну!—прошептал Франц Генинг, стоявший впереди всех.—Погодите, я швырну первый!

Четверо мужчин медленно шли по дороге, тихо беседуя.

Когда они поравнялись с засадой, Франц бросил в них ледяшкой. Она с шумом ударилась о снег, не долетев до цели. Он бросил еще раз и попал на дорогу.

Один из финнов остановился.

— Что это такое?—громко спросил он.

В ту же минуту в него полетело еще несколько ледяшек и комьев мерзлого снега. Послышался крик:

— Что за чорт!.. Перестаньте швыряться!

Но тут рабочие выступили вперед, и на финнов посыпался ледяной град.

— На нас напали!—крикнул один из финнов и кинулся бежать.

Хэгдаль заступил ему дорогу и с размаху ударил в лицо.

— Дьяволы!—завопил побитый. И не успел никто опомниться, как Хэгдаль рывкнул:

— Да ты с ножом, сатана!—И дал финну такой пинок в живот, что тот покатился, вопя во все горло. Вопль его словно все ширился, перелетел через лед и отдался в небесах.

— Берегитесь, ребята, они взялись за ножи! Меня уже пырнули!—кричал Хэгдаль, прикладывая снег к ране на шее, из которой ручьем лилась кровь.

Затем все голоса смолкли; только хрустел под ногами снег да раздавались глухие звуки ударов.

Селан тем временем подкрался к старику финну сзади, держа в руках пустую бутылку из-под водки, нацелился, зажмурился и хватил финна по затылку. Когда он открыл глаза, старик стоял на коленях, простирая руки вперед, словно над пропастью, затем со стоном уткнулся лицом в снег. Селан стоял с бутылочным горлышком в руках, сама бутылка разлетелась от удара вдребезги.

Все словно забыли о существовании друг друга, не помнили и себя, забыли Оборд, забыли о жизни и смерти, и как будто витали в ночи вечности. Финны лежали разбитые и оглушенные на снегу. Вдруг послышался пронзительный предупреждающий голос Франца:

— Сюда идут, ребята! Удирай! Удирай по добру, по здорову!

И сам побежал к баркам. Товарищи за ним. Только четверо штрейкбрехеров остались на покрытом снегом льду у дороги; кровь сочилась из разбитых голов на снег; ветер тихо веял над льдом.

Франц первый добрался до своей каморки и зажег висячую лампу без колпака, которая качалась взад и вперед, словно в паровой каюте. Мало-по-малу собрались и другие.

Запыхавшись, расселись вдоль стен на стульях, на кровати, на столе, на плите и сидели, понурив головы, шмыгая носами; кое-кто отирал с лица кровь, а у Хэгдала была длинная рана на левой стороне шеи, начинавшаяся от самых волос и кончавшаяся у шейной ямки под кадыком; из нее попрежнему текла кровь.

— Теперь тебя, пожалуй, сцапают!—мрачно сказал Франц.

— Ну, если сцапают одного, то и другим не сдобровать!—возразил Хэгдаль.

Селан сидел на кровати, закрыв лицо руками.

— А кто уложил старика?—спросил кто-то.

— Я,—пробормотал Селан.—Я, кажется, убил его, беднягу.

— Убил? Почему ты знаешь?—спросил тот же голос.

— Он распластал руки, как издыхающая собака, потом застонал и больше уж не шевельнулся,—ответил Селан и жалобно добавил:—Что я наделал! Что я наделал! Я убил человека, который ничего мне не сделал худого! Господи, что я наделал!

Его жалобы удручающе действовали на других; головы понурились еще ниже, шеи словно налились свинцом. Да, что они наделали? Отвлеченное понятие о законах, на которых держится общественная жизнь, вдруг стало до ужаса реальными; возле избы Франца Гетинга как будто

выросла неожиданно-негаданно грозная черная гора, грозившая обрушиться на всех, бывших с ним заодно. За час до того все казалось им ни по чем,—никого они не боялись, а теперь все замкнулось перед ними, они чувствовали себя связанными по рукам и ногам, беспомощными.

Селан вдруг вскочил с постели и направился к дверям, но кто-то перехватил его и бросил обратно на кровать. Недавно совершившееся как будто разделило, разобщило этих людей. Спайка рабочего с крестьянином оказалась непрочной и разошлась, когда страсти разгорелись. Рабочие чувствовали, что Селан уже не был с ними заодно, опасались его и потому не хотели выпустить. Селан же с ужасом убеждался, что находится в кругу чужих ему людей, совсем иного склада, чем он сам, и ему страстно хотелось убежать от них домой, укутаться с головой, зажмуриться и забыться сном.

— Ну, нет, дьявол!—пробормотал Хэгдаль:—теперь не убежишь! Садись и слушай, чем мы порешим.

И он обернулся к Францу, который сидел у стола, опершись лбом на ладони и покуривая папиросу. В это время один из парней, отхлебнув из бутылки, предложил Францу.

— Пошел к чорту!—отмахнулся тот.

Парень стал угощать других, но от всех по-

лучил отказ, и пристыженный вернулся в свой угол.

— Ну, Франц,—сказал Хэгдаль:—теперь увидим, на что ты годишься, парень, дьявол возьми мою душу!

Франц поднял голову и ответил:

— Да уж, небось, забегают теперь в долине! И помните, ребята, если нам и не сносить теперь головы—зато мы первые начали борьбу за освобождение.

— Наплевать нам на твою борьбу! Нам бы только... не попасться в лапы ленсману!.. *)—проговорил чей-то голос.—И твое дело, чорт тебя побери, помочь нам выпутаться! Не то берегись, парень!..

Фу, чорт!—начал Франц, но его перебили.

— Да, да! Болтать языком ты горазд, а...

— Успокойтесь, ребята! — опять заговорил Франц.—Помните только, что надо молчать... Ни один дьявол, ведь, ни о чем не знает. Обещаете?

— Да!—загудели все.

— Руку!—предложил Франц.

— Ладно!—и все пожали друг другу руки. С минуту длилось всеобщее молчание, как вдруг раздался голос Селана:

— Я не могу молчать... Мне не будет покоя!

Рабочие уставились на него, потом друг на

*) Ленсман — полипейский чин.

друга. Но Хэгдаль подошел к нему, что-то шепнул на ухо и затем громко спросил:

— Теперь будешь молчать?

— Да,—пробормотал Селан и пожал всем руки, не глядя, однако, в глаза Францу.

Впрочем, и остальные избегали встречаться глазами,—настроение у всех было жуткое.

— А теперь идем!—сказал Хэгдаль.—На худой конец обойдемся и без тебя, Франц.

— Один за всех и все за одного! — ответил Франц и зевнул.

Крадучись, молча вышли рабочие из избы, а Франц повалился на постель. Он смертельно устал. Но ему не грозил обвал черной горы, наоборот—он чувствовал себя легко и свободно. как будто свалил с себя невероятно тяжелое бремя, давившее его с детства; что-то было сделано, и он ни о чем больше не думал, ни о чем не беспокоился; он впервые сознавал себя честным парнем, он, ведь, доказал, что юдится кое-на что, перестал быть ничтожеством, стал героем!

И, умиротворенный, он уснул сладко, как ребенок.

Хэгдаль и Селан шли вдвоем по холмам, и Хэгдаль сказал:

— Теперь молчок, парень; ни гу-гу о том, что вышло. Ежели ты скажешь хоть слово, тебе не сдобровать!

— Как ты думаешь, старик помер?—спросил Селан.

— Пошел к чорту!.. Чем ты его двинул?

— Бутылкой!

— Куда угодил?

— Кажись, в затылок. Франц сказал, чтобы я нацелился сзади.

— Франц сказал?

— Да.

— Когда?

— У пильни, в обед.

— А бутылка треснула?

— Еще бы, у меня в кулаке осталось одно горлышко.

— Ну да, чорта с два! Не может быть, чтобы финн помер от одного подзатыльника! Просто очумел, верно. Но разве ты так и не расчихал, чортова деревенщина, что теперь Францу крышка? Понятно, и нас спапают, но, ведь, Франц был всему зачинщик, и это уж выплывет наружу, будь пскоен, парнюга!.. Мы выйдем сухи из воды.

— Меня совесть мучит!—пробурчал Селан.

— Ах, поди ты ко всем чертям со своею совестью!—зарычал Хэгдаль.—Держи язык за зубами, и пусть Франц летит к чорту на рога. Будет с него, поважничал; теперь он больше не нужен, провал его возьми. Мы так порешили. Всем скопом. А ты, ведь, наш, ты не барин, как он.

— Да, пожалуй, вернее всего держать язык за зубами, — согласился Селан.

— Да, уж не сомневайся, парнюга! — жестко сказал Хэгдаль.

Селан пошел дальше и исчез в темноте.

На другое утро, едва солнце взошло, у кровати спящего Франца Гетинга стоял ленсман и расталкивал его.

— Вставай, парень! — кричал он.

Франц раскрыл недоумевающие глаза.

— Кто это? — спросил он.

— Ленсман! — был ответ.

Парень сел и уставился на ленсмана.

— Что угодно от меня господину комиссару? — спросил он.

— Засадить тебя за решетку, голубчик! — со смехом ответил ленсман.

— За что же?

— За то, что ты избил и искалечил четырех финнов с лесного двора. Вставай да влезай поживее в штаны! Правосудие не ждет, негодник!

— Какое мне дело до финнов? — проговорил Франц.

— А такое, что годков семь отсидишь за них! — весело ответил ленсман, хлопая Франца по плечу.

Тут Франц изменился в лице и повалился назад на постель.

— Сразу видно, какой ты невинный! — сухо произнес ленсман.

— Семь лет! — простонал Франц.

— Только не отпирайся, а то сам прибавишь себе сроку! — посоветовал ленсман.

Франц сидел, как пришибленный, с вытаращенными глазами. — Семь лет! — безучастно повторял он.

— Ну! — прикрикнул ленсман так, что Франц вскопился. — Скоро ли ты?

Известие о семи годах тюрьмы совершенно ошеломило Франца. Он и не думал никогда о тюрьме. Ему грезилась казнь на красном эшафоте, в присутствии толпы народа и солдат, под звуки музыки. Но тюрьма!.. словно горсть пыли набилась ему в рот, в горле защекотало, и слезы отчаяния потекли из глаз. Он не мог больше стоять, весь костяк словно разваливался, и он, как мясной мешок, бухнулся ленсману в ноги.

— Что мне сделать, чтобы убавить сроку? Я готов на все, на все!

— Назови своих соучастников! — предложил ленсман, вынимая записную книжку. И Франц, не задумываясь, назвал своих товарищей.

— Что же, помилуют меня за это? — спросил он.

Но тут в дверях послышался голос старика Гетинга:

— Господи!.. Я отказываюсь от тебя перед

Господом Богом! Клянусь, мать твоя прижила тебя с другим. У меня никогда не хватило бы подлости и бесстыдства выдать своих товарищей!..

Старик схватил подвернувшийся ему под руку складной нож, швырнул его в лицо сыну и вышел. Нож попал Францу в щеку; брызнула кровь, мешаясь со слезами. Рыдая, Франц упал головой на край стола, а ленсман принялся осыпать проклятиями и отца и сына.

Последний акт этой дикой драмы разыгрался в тихий майский вечер, перед закатом солнца, в большой зале одиночной тюрьмы в Эбакке. Престарелый судья сидел на своем кресле, за столом, окруженный почтенными седовласыми крестьянами в качестве свидетелей, и весь зал был переполнен любопытными обывателями.

Арестанты сбились в кучу; лица их посерели и обросли бородами, а глаза горели странным, беспокойным огнем. Казалось, они ничего не видели перед собою, а созерцали что-то «погустороннее». Когда же изредка останавливали свои взоры на ком-нибудь из публики, то в их глазах можно было прочесть беспомощный, безнадежный вопрос сбитого с толку человека: «Что же это такое? Что все это значит?»—и мольбу: «Помогите мне понять, что я сделал? Я не понимаю. Я не сознаю своего деяния».

Впереди всех стоял Франц, который во все время следствия производил впечатление лунатика. На все вопросы он отвечал утвердительно: здоровье его было уже надорвано, и тюремный доктор предсказывал ему скорую смерть.

Теперь их привели в этот серый зал, чтобы объявить им приговор суда. Отблеск заката окрашивал стены тюрьмы в розовый свет и наполнял зал фантастическим сиянием; легкие голубые тени обволакивали предметы, придавая розовому отблеску особую прелесть; воздух за окном не шелохнулся; с безбрежного небесного свода спускалась бледная, полная луна, напоминая нежный плод, одуряющий аромат которого струился в пространство и заставлял сердца учащенно биться.

Мир и неопределенное, невыразимое томление навевал этот майский вечер; с лицами, озаренными розовым сиянием, выслушали подсудимые приговор, на долгие годы отрывавший их от жизни и от людей.

После прочтения приговора в зале воцарилась полная тишина; никто не шевельнулся, никто не смел перевести дыхание, и, словно издалека, глухо прозвучал голос судьбы:

— Уведите арестантов!

С понуренными головами, неслышно ступая в мягких туфлях, вышли они из розового зала в темное зияющее отверстие дверей, и с грохотом задвинулись за ними железные засовы.

Молча разошлись обыватели по городу, окруженному водой, в зеркальной поверхности которой отражались алый закат, зеленые луга и распускающаяся листва.

И снова настала тишина после потрясающего вопля, которым неукротимый «зверь в человеке» возвестил о порождении им нового существа.

В крови, в грязи и в слезах появилось оно, как и все живое, и страшный вопль так напугал людей, что они с ненавистью и страхом встретили новое существо, которому, быть может, суждено некогда угодить Ариэлю *) и помогать человечеству в возведении на земле дворца, высящего свои своды к вечным звездам.

Перевод со шведского

А. и П. Ганзен.



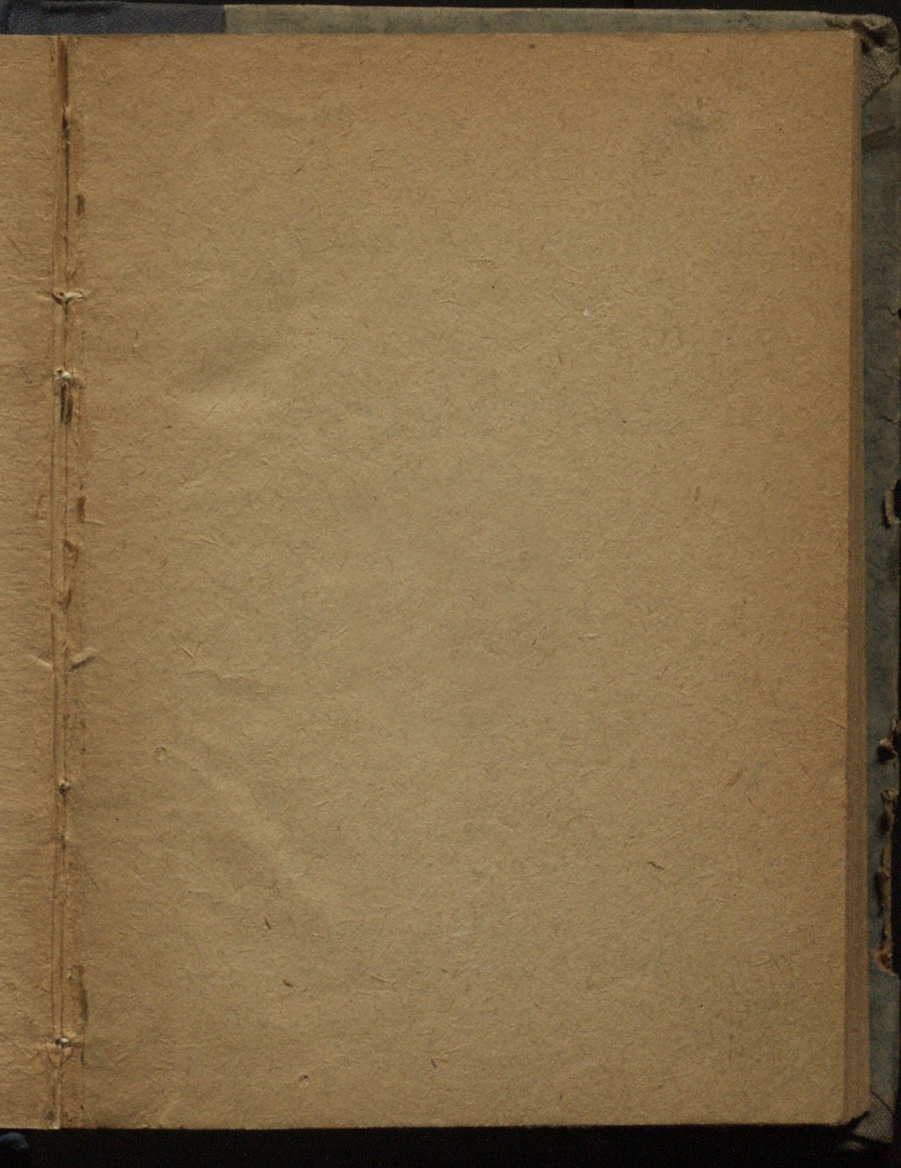
*) Добрый дух, служивший Просперо, герою Шекспировской драмы „Буря“. Здесь под Ариэлем следует разумеать стихийную силу, покоряющуюся направленной к добру воле человека.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие А. Ганзен	5— 11
Гроза показала хозяина	13— 28
Неисправимый	29— 50
Душа ребенка	51— 64
Аист	65— 76
Первая супруга Томаса Лакка	77— 88
Бог	89— 98
Человек без души	99— 126
Вожак	127— 158

Перевод А. и П. Ганзен.





ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №36.

ЦЕНА 14 РУБ.

